

Николай Семенович Лесков

Страстная суббота в тюрьме

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0033
III.....	.0068
IV.....	.0094

Николай Семенович Лесков
СТРАСТНАЯ СУББОТА В
ТЮРЬМЕ

Возможностью посетить в великую субботу две петербургские тюрьмы я обязан одному из директоров тюремного комитета Петру Семеновичу Л., за что и приношу ему здесь мою благодарность.

Я отчасти знаком с тюремными порядками в Англии и Франции и наблюдал много раз тюремные порядки в русских местах заключения (гражданских и военных). Назад тому лет восемь я видел страстную субботу в небольшом остроге одного уездного городка Киевской губернии, и день этот произвел на меня ужасно неприятное, потрясающее впечатление. После того я еще два раза был в этот день в двух больших тюрьмах, из которых одна не подлежала гражданскому ведомству. Впечатление то же: сжимающее и гнетущее; но несмотря на то, нынешний год я хотел снова заставить свою душу поболеть и показаться.

Кто читал известное многим юристам письмо Чарльза Диккенса о том, как вешают человека, тому, вероятно, понятно, что чело-

век, лишенный всяких свирепых инстинктов и в то же время не разделяющий известных утопий, может искать случая наблюдать явление, поразившее его однажды, и относиться к нему с совершенным беспристрастием стороннего наблюдателя, которому личные симпатии мешают видеть факты такими, какими они являются в данный момент.

Остроумные люди должны простить мне, что, говоря о своей привычке посещать тюрьмы в день, в который тюрьма делается еще тяжелее и еще несноснее, я позволил привести в свое оправдание привычку английского писателя с именем, с которым очень приятно ставить свое имя. Это нужно было для объяснений, которые могут кому-нибудь из читателей показаться странными. К тому же Чарльз Диккенс описывает, как вешают человека и как ревет безумная толпа, наблюдающая его предсмертные вздрагивания, а я просто хочу записать: как в страстную субботу 1862 года русские люди, сидящие в петербургских тюрьмах, ожидали светлого праздника.

7-го апреля я был в тюремном здании при доме 3-й адмиралтейской части и в большой

тюремные гражданское ведомства, выстроеной возле Театральной площади. Тюремное здание 3-й адмиралтейской части устроено в середине двора. Это высокий флигель довольно безобразной архитектуры с небольшими окнами, в которые вделаны железные решетки. Ни вооруженных, ни безоружных часовых снаружи я не видел. В довольно большой передней, где стоит образ, перед которым горела лампада, было около десяти полицейских солдат, которые при нашем входе вскочили, «лани испуганной быстрей», и громко ответили на приветствие г. Л. обычным «здравия желаем, аше скобродие!»

Я не мог разобрать, все ли эти люди были здесь по службе или только сошлись побеседовать в приятном месте. Со входа налево был так называемый «приемный покой» с небольшой передней, в которой на провалившемся диванчике, обитом когда-то цветной клеенкой, тоже сидели три солдата.

«Приемный покой» собственно состоит из этой передней и двух комнат, между которыми нет прямого сообщения, и чтобы попасть из одной в другую, непременно нужно прой-

ти через переднюю, в которой сидят солдаты. В одной комнате (из передней налево) мы застали двух человек арестованных и какого-то старшего полицейского солдата. Когда мы вошли, солдат соскочил с подоконника, на котором он сидел, разговаривая со стоявшим возле него арестантом.

Арестант этот был молодой человек, брюнет, с довольно выразительною физиономиею; волосы на голове у него были в беспорядке, и небольшие карие глазки искрились бесильным гневом и досадой. На нем был надет казенный суконный халат с высоким воротником, и он постоянно одною рукою запахивал этот воротник около своей шеи.

— Помилуйте, полковник! Что же это! Ведь это разбой. Меня здесь хотят уморить. Завтра такой праздник, а я в тюрьме, когда доктор сказал, что я здоров и меня можно выпустить.

— Зачем их не выпустят? — спросил я солдата.

— Не могу знать-с, аше скобродие.

— Поручителей требуют, — подсказал сам арестованный.

— У него было помешательство, — сказал

мне полковник Л. по-французски и потом, обратясь к больному, прибавил: — Ну, что же, разве у вас нет никого знакомых?

— Нет-с, полковник! Знакомые есть, да я не хочу идти на поруки.

— Отчего же?

— Да зачем же поручители, если доктор сказал, что я здоров? Как вы думаете, здоров я или нет? Ведь здоров! — продолжал он, — а здоровому уму человеку зачем поручители?

— А зачем вы с топором по улице ходили?

— Не с топором-с!

— Как не с топором?

— С палкой, со штилетом.

— Ну, с палкой. Ведь вы знаете, что с такими палками ходить не дозволено.

— Наследственная это была палка, я с ней и ходил, и ничего больше.

П. Л. обещал ему где-то походатайствовать.

— Пожалуйста, полковник. Сами знаете, какой праздник.

На вопрос о другом арестанте солдат значительно тронулся за лоб, и мы вышли в переднюю. Из нее дверь направо вела в женскую комнату, в которой, однако, никого не

было. Убранство ее состояло из двух коек и столика, но койки эти содержались далеко с большей опрятностью, чем койки арестантов-мужчин, у которых чехлы на кроватях были невероятно грязны, а одеяла из какого-то неведомого материала напоминали постели горничных девушек старых помещичьих домов В-ской губернии, для которых где-то покупались одеяла из так называемых «поплеков». Шерсть не шерсть, и не бумага, а так, черт знает что; узелки какие-то снизаны: и редко, и тяжело, и как-то маслянисты на ощупь.

В женской комнате мы пробыли несколько минут. Когда г. Л. вышел в переднюю, его встретили оба арестанта.

— Пожалуйста, полковник, похлопочите, — жалобно напомнил брюнет.

— Уж я дал вам слово и все сделаю, что в моих силах.

— Да, пожалуйста, а то праздник.

Другой арестант что-то хотел сказать, но закрыл рукою рот и приостановился.

— Не хотят ли чего-нибудь сказать мне? — спросил г. Л.

— Кашель, — проговорил арестант разбитым, больным голосом с сильным немецким акцентом, заметным даже в одном слове.

— Да нет, пустяки! — отозвался брюнет.

— Почему вы думаете, что пустяки? — спросил г. Л.

— Они не здоровы... совсем тронут, — продолжал он шепотом.

Немец стоял покойно и глядел беспечно. Ему было лет за 45, глаза голубые и лицо довольно симпатичное. Он стоял посреди комнаты и, заметив, что на него смотрят, шаркнул ногою, как воспитанник благородного пансиона, и опять сказал: «Кашель».

Больше мы от него ничего не слышали и вышли в сени, а оттуда в ту переднюю, где сидела прежде упомянутая мною толпа солдат и где мы оставили свои калоши, до вступления в приемный покой. По таблице, висевшей на стене, значилось, что 7-го апреля здесь находится 25 человек арестованных, из которых 2 малолетних, 3 публичные женщины, 3 следственных и, кажется, 7 секретных.

Сначала пошли по коридору направо. Унтер, державший связку ключей, отпер дверь.

Обыкновенная декорация: широкие нары, сыроватые стены и узенькие окна с железными решетками вверху. На нарах стоит чашка со щами, и за ней сидят трое: молодой красивый парень с пробором на боку, какой-то мещанин да мальчик лет 15 с совершенно круглыми глазами.

— Здравствуйте, друзья мои!

— Здравствуйте, ваше высокоблагородие!

— Поубыло вас.

— Да, все в тюрьму, да которых в другие арестантские разослали; а то кое-кого выпустили.

— Ты за что? — спросил г. Л. мальчика.

— А!

— За что, мол, тебя взяли?

— Меня-то?

— Да.

— У него куричья слепота, — ответил молодой парень. — Шел он дней пять назад вечером, устал, сел на нашей-то лестнице, его взяли да и привели сюда.

— Его сегодня отошлют во 2-ю часть, — проговорил кто-то сзади. Мы оглянулись; за нами стоял квартальный, держащий в руках

ведомость арестантов.

— Зачем его отошлют туда?

— На поруки брату.

— А брат его там?

— Там.

— Знает твой брат? — Вопрос относился к арестанту.

— А! Знает.

— Возьмет он тебя?

— А!

— Придет он за тобою?

— Придет.

— Батюшка! Нельзя ли меня как ослобонить?

Из угла вышел мужичок с очень смуглым и добрым лицом.

— За что тебя взяли?

— Припадочный.

— Как припадочный?

— Припадок со мной анамедни случился у [1] церкви, вот и взяли, да никакого решения и нет.

— Его тоже отправят, — подсказал квартальный, прикладывая два пальца к козырьку каски.

Должно быть, тоже будут искать поручителей и этому.

— Ну, иди, пока поешь. Чего ты не ешь? — спросил его г. Л.

— Какая, батюшка, еда! Нонче Плащаница святая. Какая еда! — я есть не стану.

Я попробовал щи из чашки, из которой ели арестанты. Щи прекрасные, из кислой капусты с грибами, и хлеб очень вкусный; но деревянная чашка с околотыми краями очень грязна и гадка, ложки деревянные. Такая посуда, по моему мнению, совсем не годится для места, куда ежедневно прибывают разные новые люди, воры, грабители, пьяницы, публичные женщины, дети и люди, виноватые в «припадочности» или в «куручьей слепоте». Цинга и сифилис могут легко сообщаться при содействии легко всасывающих в себя деревянных (некрашенных) ложек и таких же чаш.

Еще какой-то чиновник с избитыми и искусанными руками просил, чтобы его выпустили, так как он никого не бил, а его били. Он взят за драку. Квартальный сказал, что и его тоже куда-то отправят.

Это такое время, когда арестованных лю-

дей, очевидно, каждый чиновник старается спровадить другому, чтобы арестант за ним не «числился», вот их и передают из одной тюрьмы в другую, лишь было бы движение по ведомостям.

В первой комнате второго коридора стоит образ и перед ним налой, на котором лежит какая-то книга, завернутая в старый эпитрахиль. Стол и на нем чернильница с тремя стальными перьями в разнокалиберных ручках, между которыми одна даже бисерная: на розовом фоне раскинута что-то вроде голубых незабудок. Кажется, это чехольчик с зубочистки, вероятно, полученный каким-нибудь полицейским сердцеедом или отобранный при обыске у пьяного писаря и поступивший на укомплектование письменного стола. Бог знает. Я же могу только свидетельствовать, что все три пера к делу вовсе не годятся, ибо ни одним из них я никак не мог списать копию с ведомости о числе и роде арестантов 3-й адмиралтейской части. Во второй комнате, имеющей около 5 шагов во все стороны, нет никого, но зато на нарах лежит кучка пожертвованных кем-то сдобных булок и кули-

чей.

— Вот в этой конурке я при первом моем посещении застал 30 или 35 человек, — сказал г. Л. — Теперь уже так не теснят. Разве иногда в праздники. — Он обратился к ундреу: — Вот завтра из-под качель, я думаю, так и пойдут таскать?

— Точно так, аше скобородие.

В третьей комнате три женщины и мальчик лет около 15, с коротко остриженной головой и бегающими враскос глазами. Одна из женщин еще довольно молода и благообразна. Голова у нее тщательно причесана, и волосы лежат очень кокетливо. Она в чистом ситцевом платье и коротеньком пальто. Две другие. Господи Боже мой! В целую мою жизнь (а со дня моего рождения, 4-го февраля, минуло три десятилетия давности) я не видал ничего гаже и отвратительнее. И неужели это публичные женщины! Стары, безобразны, ощипаны, в платьях грязных, как сама грязь... однако это действительно женщины, практикующие без известных билетов и за то подвергнутые аресту.

— Мальчик! Зачем здесь мальчик? — спро-

сил г. Л.

— Не могу знать, аше скобородие.

— За что ты, мой милый?

— Бумагу сгубил.

— Какую бумагу?

— Свою — паспорт, — пояснил мальчик.

— Откуда ты?

— Господской.

— Бродяжил, верно?

— Я не бродяжил, а бумагу сгубил.

— Ну иди, мой друг, в другую комнату.

Мальчик взял с нар хлеб и пошел, а за ним пошел и ундер. Мы тоже вышли из этой комнаты, в которой какой-то совершенно особый воздух, удушающий и в то же время поднимающий рвоту. Вообще слышен запах гадкой помады, пота и проч. В последней комнате четьре человека: один возвращенный из тюрьмы и следующий к водворению на жительство; двое других, очень бойкие и очень неприятные фигуры в мещанских сюртуках «по оговору в воровстве», и торговец, подозреваемый в подделке какого-то векселя в 300 руб. Лицо очень убитое, глаза заплаканные; щеки его судорожно подергивало.

— Что, друг мой? Не плачь. Бог даст, выйдешь, — сказал ему г. Л.

— Как, ваше высокоблагородие, не плакать! Жена, маленькие ребятки, праздник такой... что они, горькие, делают теперь? Господи ты, Боже мой! — и он заплакал еще отчаяннее.

— Где его дело? — спросил г. Л. квартального.

— За надворным судом-с, — отвечал тот.

— Вот видишь. Что я могу сделать?

— Хоть бы перевели в тюрьму, — продолжал, всхлипывая, арестант.

— Отправьте его, пожалуйста, в тюрьму.

— Слушаю-с.

— Покорнейше благодарю, — и арестант бросился ловить руку г. Л.

«Странное дело, — подумал я, — чего он так радуется?»

— А вот увидите тюрьму, так поймете, отчего ее предпочитают арестантским при части.

Взошли во второй этаж. Здесь общих камер нет, а все одиночки. Маленькие комнаты с узеньким окном под потолком, а в дверях

решеточка. Коридор, освещенный окнами с концов, светел и широк, двери только с одной стороны, а другая стена капитальная. В первой комнате никого нет; во второй какой-то мещанин «по оговору воровства». Лицо ничего не выражающее и ни о чем не просит. В третьей комнате здоровый русский парень с дерзким лицом.

— За что содержишься?

Молчание.

— За что он?

Квартальный, поглядывая поспешливо на арестанта, назвал его преступление.

Странное и отвратительное дело.

— А кто же другой участник?

— Художник тут, сейчас увидим.

— Я его оговорил напрасно, — сказал арестант.

— Зачем же оговорил?

— Так, по злобе.

— Лжет, — вмешался квартальный. — Взяли вместе, сознались и говорили в одно слово, а теперь надумались.

Вышли из камеры.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я квар-

тального, — что дало повод подозревать такую странную связь?

— Ничем не занимался, а жил хорошо, ну и стали за ним смотреть; а тут случился обыск: нашли бриллиантовые кольца, тонкое белье и другие вещи, ему не следующие; стали спрашивать: откуда взял, — все и вышло наружу.

— Сами сказали?

— Сами.

Следующий N — молоденький француз с розовыми щеками, одет в полинявшие светлые панталоны из летнего трико и сюртук из той же материи. У него в комнатке чисто, на столе лежит какая-то книга, и кровать закрыта одеялом. Он содержится по делу о фальшивых ассигнациях. Оправдывается и говорит с чистым парижским акцентом.

Дальше молодой мужик с совершенно глупым лицом «по оговору воровства». Лицо немытое, чернее грязной онучи, на койке скомкана свитенка, и больше ничего нет. Вонь душит так, что нельзя говорить. Во всей фигуре арестанта заметна совершенная опущенность.

— Откуда ты? — спрашивает г. Л.

— Из тюрьмы.

— Давно был у допроса?

— Три недели.

— Это необходимый вопрос, — сказал мне г. Л., когда мы вышли из камеры. — Если недавно допрашивали, значит, дело идет, а если давно не было допроса, то нужно как-нибудь пододвигать.

— А что называется давно?

— Ну вот, например, три недели — это давно.

Я вспомнил одного моего знакомого англичанина, с которым мы почти ежедневно видимся в течение полугода и который никак не привыкнет, что на вопрос: который час? ему отвечают: пятый или десятый. Он всегда ожидает, что ему скажут тридцать две минуты пятого или сорок семь минут десятого, и сердится, что люди так не точно выражаются о драгоценнейшем сокровище, о времени. Что, если бы он послушал, как дорожат этим сокровищем в 3-й адмиралтейской части! Впрочем, пренебрежение временем, точно так же, как и неуважение к своему слову, у

нас делается по простоте; это, похоже, отличительные черты, характеризующие нашу отчизну.

Я помню, что лет пять назад в самый разгар винокурения на одном заводе в П-ской губернии недоставало рабочих. Является артель человек в 15.

— Хотите работать, братцы? — спрашиваю я.

— Да, наймаемся, — отвечает артельный староста.

— Откуда вы?

— С — ского завода.

— Что же вы там не работали?

— Да так.

— Как так?

— Не похоже нам там работать.

— Харчи, что ли, плохи?

— Да и харчи.

— А расписку у управляющего взяли?

— Нет, расписки нету-ти.

— Так как же я вас приму? Может, вы там забрали вперед?

— Ничего. Что вы опасаетесь?

— Да не могу, братцы. Дело соседское, еще

история из-за вас выйдет.

— Ничего, — отвечают несколько голо-
сов. — У нас из этого просто. Вам какое дело?
Мы наймаемся и только.

— Нанимайте, — шепчет мне стоящий воз-
ле меня подкурок. — Что нам за дело? Нешто
мало этого бывает? У нас из этого просто, —
прибавляет он в виде неопровержимого аргу-
мента.

Поприсмотревшись, и я понял, что все это
действительно очень просто, и даже перестал
опасываться принимать рабочих, не испол-
нявших своих обязанностей к прежним нани-
мателям, потому что не принимал их я, они
шли к соседу и нанимались у него по той же
самой простоте. Видно, не нами эта простота
началась, не нами она и кончится: только
мой знакомый англичанин никак этого не
возьмет себе в толк, отчего у нас изо всего так
просто, и я объясняю себе его недальновид-
ность вредными последствиями западной ци-
визации.

Но возвратимся к тюрьме 3-й адмиралтей-
ской части.

В первой комнате третьего этажа, располо-

женной точно так же, как второй, сидит опять молодой француз. Ему на вид лет 20; одет в поношенный суконный сюртук; в комнате все в порядке, постель закрыта одеялом. Арестант говорит прекрасным парижским языком и жалуется на медленность по его делу. Он содержится за то же преступление, как и первый француз, которого мы видели в одной из одиночек второго этажа. Рядом с его комнатой комната художника, обличаемого в одинаковом отвратительном преступлении с русым парнем, который содержится во втором этаже.

Художнику на вид лет 40; он немец. Волосы с сильной проседью, одет очень опрятно, в галстук вколота булавка с каким-то камешком. Лицо очень скромное и даже доброе. Глаза выражают страдание, нос, что называют — утиный, в углах губ видна сильная сдержанность; признаков особенно развитой чувственности на лице уловить невозможно. Он жалуется на медленность следствия и надеется, что его пустят на поруки. Он работал у одного известного в Петербурге литографа и думает, что тот возьмет его на свое поручитель-

СТВО.

— Скверное дело, — говорит ему г. Л.

— Да, обвинение, но не дело. Дело пустое. Его никто не докажет, а взвести — мало ли что можно?

— Скверное дело — большая ответственность.

— Я вам говорю, что дело ложное. Лишь бы вели скорее следствие. Я об этом только и прошу.

Дальше в комнате очень молодой человек с красивым лицом, в котором заметна сильная вкрадчивость.

— Ну что? — спрашивает его Л.

— Да все ничего нет. Свидетелей нет; все тянут, — отвечал он очень бойко.

— Сам был полицейским сыщиком, — сказал мне Л., указывая на арестанта, — да и попался.

— Что он сделал?

— Бумаги там подписал какие-то фальшивые, — сказал квартальный.

— Этаким дока, а все-таки попался, — говорит Л.

— Что ж? Я только за других расписался, а

никакого умысла не было.

Он начал о чем-то просить Л., я подошел к столику, на котором лежали книги и газеты. Тут была «Монфермельская молочница», несколько переводных романов Поль де Кока, аккуратно сложенные номера «Искры» за 1862 год, два номера «Иллюстрации» и номер «Петербургских ведомостей».

Оставив экс-сыщика, мы поднялись в четвертый этаж и зашли там только к одному арестанту.

Это отставной кавалерийский ротмистр***, судимый за разные подлоги. Лицо очень красивое, но неприятное. Говорит скоро и, видно, знает, что хочет сказать. В комнате накурено благовонной бумажкой, темные шерстяные занавеси на окне. Кровать опрятная, стол покрыт суконной салфеткой, на нем зеркальце, книги и несколько туалетных вещей. Вообще комнатка убрана и не похожа на печальную, голую конуру, в которой сидит мужик «по оговору воровства».

Ротмистр жалуется на всех, начиная с генерал-губернатора, который будто бы сделал распоряжение не освобождать его даже в та-

ком случае, если он окажется совершенно правым.

Он говорит очень много и очень утвердительно, но всему, о чем он говорит, как-то мало верится.

У него есть жена, женщина очень даровитая и известная своими талантами. Она вышла за него по самой пылкой любви и была с ним очень, очень несчастлива. Я слышал ее раздирающую душу историю еще в прошлом году от г-жи К—й, но никак не ожидал встретить в тюрьме этого несчастного человека, любимого прекраснейшею женщиной и разбившего и свое и ее счастье.

«Ах, амур проклятый!» Какие шутки он шутит со смертными... А сколько честных, рабочих людей, без разгибу гнущих свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности?.. Сколько людей, работающих только для насущного хлеба семье и не слышащих ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков в роде того, что «я не так бы жила, если бы вышла за другого», или «ты обязан» и т. п. Да! Сколько таких людей,

которые не жалуются на свое несчастье, а терпят его как запряженная лошадь, которую кучер хлещет по облупленному кнутом боку и которая не может ни выпрыгнуть из оглобель, ни сломить их? Странно, право, зачем судьба производит такую беспощадную и безвыходную при наших социальных условиях подтасовку? Доктор Крупов прав, рассуждая о своих супругах, пациентах... и Шевченко тоже прав, говоря, что

*Того режут, того душат,
Тот сам себя губит.*

Не встретилось же женского существа, которое осветило бы своим теплым сочувствием тревожную жизнь недавно угасшего русского таланта; не подошло же к нему близко. Не столкнулись же с такими существами люди, готовые прощать и забывать все, за одно слово участия, за одно снисхождение к их человеческим слабостям. Не явилась на помощь к ним ни одна женская рука с желанием и решимостью поднять труженика на новые подвиги, дать ему новые силы и посадить за работу не с тем адом в душе, с которым садится

за нее человек только потому, что завтра нужно есть и кормить свое лихо, чтоб оно спало тихо... Боже мой! Кто ж виноват во всем этом? Неужели судьба, неужто какой-то фатум, какое-то проклятье? Или наша слабая, ничтожная, бессильная воля, пришибленная, придавленная и убитая гадким, бессмысленным воспитанием, следов которого мы не умеем стряхнуть? И продолжаем жить в том же разладе с делом, который так метко охарактеризован Белинским.

Выйдя из тюрьмы, г. Л. отправился к приставу осведомиться об арестантах, которых мы посетили, а я пошел посидеть в «дежурную». Комната дежурного находится внизу у самого подъезда. Дощатая перегородка, обклеенная дешевыми бумажками, разделяет ее на две части. В передней части у окна стоит столик и два стула, а за перегородкой, на которой мотаются два сальные лохмотья темного ситца, заменяющие драпри, виден диван. Там за перегородкой, прямо против щели, на которой мотаются лохмотья, расположились два полицейские солдата. Один стоял, прислонясь к стене, и, заложив руку за спину, терся

об стену плечами; другой сидел на стуле, поджав рукою щеку, как будто собирался тотчас петь:

*Царя белого гусары
Петра Первого.*

Сбоку стола сидел какой-то сумрачный господин, должно быть, проситель. Место перед столом, принадлежащее, вероятно, дежурному квартальному, было не занято, и я расположился на нем. Вошел третий солдат с засаленной разносной книжкой в руках и, положив ее прямо передо мною, пристально и не без удивления посмотрел мне в лицо, но ничего не сказал и пошел за перегородку. Вслед за тем из-за перегородки послышался сначала поплевок, затем громкое зевание и наконец который-то из солдат сказал: «Не знаю». Вероятно, вошедший солдат осведомился обо мне, дерзостно засевшем на кресло «фартального».

— Отвел? — спросил солдат, у которого очень чесались плечи, и опять зевнул.

— Отвел. Как, братец ты мой, обрадовались! Жена эт-та, ребятенки, прыгают, визжат, как будто поганок обожрались; а мать

старая-старица так и дрожит.

— И мать жива? — спросил солдат и опять задвигал плечами об стену.

— Жива, только очень старая такая, что мышей не топчет.

Взошел тот самый квартальный, который сопровождал нас в тюрьме.

— Другой дежурный не приходил? — обратился он к солдатам и снял свою каску.

— Никак нет, аше бродие.

— Тьфу, — квартальный плюнул.

Взошел арестованный ротмистр, заглянув за лохмотья, мотающиеся на лазе в перегородке, и, вынув папироску, спросил квартального: можно ли закурить?

— Курите, — отвечал квартальный.

— Не знаете ли вы, где живет Л.?

— Не знаю, — отвечал квартальный.

Я сказал адрес Л.

Ротмистр поблагодарил меня и тотчас же рассыпался в жалобах на все и на всех. Я сказал ему, что мне многое в его рассказе кажется невероятным и что он, может быть, получает неверные сведения по своему делу. Он хотел мне рассказать что-то подробнее, но в

двери показалась голова Л., и я должен был оставить дежурную. Нам нужно было ехать в большую уголовную тюрьму.

Пока мы ехали, речь шла о ротмистре, его делах и еще кое о чем, касающемся до него и связанных с ним лиц. Л. рассказал мне также много интересного о некоторых заграничных тюрьмах, которые он посещал и в которых между прочим встретил двух русских арестантов. Один был офицер, человек известной фамилии, содержащийся за бродяжничество в Турине, другая дама, тоже довольно известной фамилии, тоже была под арестом за бродяжничество. Она, как говорят, «все произошла», была сестрою милосердия во время Крымской войны, влюбилась там в какого-то англичанина и уехала с ним в Лондон, где они скоро стали в тягость друг другу, потом сделалась мормонкою и, наконец, пробираясь назад в Россию, задержана в Германии как беспаспортная. Судя по рассказу Л., это одна из тех непоседных натур, которым везде «не по себе». Они все собираются вширь да вдаль, пока судьба не осадит их в каком-нибудь тесном углу, из которого они вы-

ходят уже совсем озлобленными, но зато с более определенными стремлениями и с окончательной неспособностью к скромной доле. История обоих арестантов очень любопытна и назидательна, но право излагать ее принадлежит не мне. О туринской тюрьме Л. отзываться очень невыгодно: арестанты в ней помещаются очень тесно, спят на соломе и питаются одним хлебом. Слушая любопытные рассказы Л., я не заметил, как лошади остановились перед большим серым зданием петербургской уголовной тюрьмы.

Здание петербургской уголовной тюрьмы видно от Большого театра, и его знают почти все жители Петербурга. Снаружи оно немало не похоже на обыкновенные губернские или уездные остроги, которые отличаются одни от других только величиною. Здесь в Петербурге на тюремном корпусе нет ни белых башен на желтых стенах, ни наружной кордегардии, ни стрельниц, в глубине которых домовитые галки вьют свои мирные гнезда и в виду печальных заключенных воспитывают головастых птенцов. Они не чувствуют никакого стеснения, сидя на рубцах острожной стены. У них есть крылья, которых нет у человека и которых никак не вымолят у Зевеса поэты всех времен и народов, от Гомера до Алипанова и Милькеева. Вырастет головастая птица, уйдет из родного гнезда с острожной стены и приютится около чьей-нибудь трубы; снесет пару синих яиц, а добродетельная кухарка подменит их куриными и заставит глупую птицу высиживать цыплят вместо родного галчонка. Жалкая птица! точно русский

акционер общества «Сельский хозяин», которое так хорошо усаживало вольных галок на чужие яйца. Но Бог с ними и с акционерами, и с галками, придерживающимися начал коммунизма и потому не имеющими ни собственности, ни акций, а живущими, как подobaет жить птице небесной, не жнущей и не сеющей. Я говорил о башнях и стрельницах, торчащих на некоторых острогах. Они устроены, вероятно, в том рассуждении, что замку нельзя же быть без этих украшений, а наши остроги пишутся по бумагам тюремными замками. Но так как башни эти совершенно бесполезны и, кроме понытчиков уездных судов, они до сих пор не приучили никого называть «замками» заведения, известные в народе под именем «острогов», «тюрем», «каменных мешков» и т. п., то не время ли решиться употребить материал, нужный на эти орнаменты, для более полезного назначения? Да и что, в самом деле, за «замки», у которых снаружи на окнах постоянно почти висят то латаные арестантские рубашки, то пропревшие штаны? Вид петербургской тюрьмы совсем не таков. Здание не претендует на фигуру «зам-

ка»: это тюрьма с первого взгляда. Велико, серо, мрачно и печально. У ворот привратник, стоявший 7-го апреля в меховой шинели, хотя на дворе было довольно тепло. У него больное лицо; должно быть, лихорадка. Он отпер нам калитку, вделанную в одной половине створчатых ворот, и опять запер ее за нами. Мы очутились в круглой камере. Насупротив ворот, в которые мы вошли, были другие ворота, но уже не глухие, а решетчатые, и за ними виднелись третьи, тоже решетчатые. Между вторыми и третьими воротами расстояние около трех шагов. От первых ворот ко вторым вдоль всей этой камеры, или башни (не знаю, как ее вернее назвать), идут тоже высокие железные решетки, а между ними проезд. Двери в обеих боковых решетках были открыты. В полукруге, отрезанном правою решеткой, сидело несколько мужчин и женщин, державших на коленях чистенькие узелки, из которых выглядывали: куличи, творожные пасхи и красные яйца. Верно, родственники арестованных. У первых решетчатых ворот по сю сторону тоже стояло несколько человек с такими же узелками. Приложив

свои лица к полосам железа, они внимательно смотрели в глубь тюремного двора. На всех лицах выразалось нетерпение. За решеткой налево никого не было. Мы вошли за эту решетку. В стене, которую она отгораживает, есть дверь, за эту дверь маленькая комната, не то передняя, не то сени, а за нею длинная казарма, у которой все окна в одну левую сторону. Вдоль всей этой казармы с потолка до пола тянется частая деревянная решетка, срубленная в клетку (крестом) с промежутками не более вершка между каждыми четырьмя решетинами. К этой решетке плотно прилегает очень частая плетеная проволочная сетка, такого сорта, какой нередко употребляется на веяльные решета. За этой решеткой (когда глаз присмотрится к окружающей ее сзади темноте) на аршин далее видна другая, точно такая решетка, за которую уже совсем почти ничего не видно. Это — комната для свидания арестантов с посетителями (parloire). В ту часть казармы,[2] в которой были мы, входят посетители; в коридорчике, образуемом двумя решетками, помещается тюремный досмотрщик, а за заднюю решетку

впускают арестанта. Свет так слабо проникает за эту вторую решетку, что я сомневаюсь в возможности рассмотреть лицо арестанта. Об этом здесь, конечно, и не заботились при устройстве этой печальной комнаты, да и, к несчастью, точно такие решетки существуют не у нас одних. Их пока можно также встретить и в некоторых французских тюрьмах; но во многих новых заграничных тюрьмах их нет, и даже из старых, переделанных в недавнее время, они выкинуты, как вещь совершенно ненужная. Там *parloire* устраивается так, что досмотрщик, стоя в центральном месте, видит арестантов, беседующих с посетителями, но не подслушивает их разговора и не стесняет говорящих своим присутствием. Такое уважение к людям должно бы найти место и у нас, особенно теперь, когда мы знаем о близости преобразования нашего судопроизводства. Вообще помещение, устроенное для свиданий арестантов с посетителями в петербургской уголовной тюрьме, принадлежит к вещам отжившим, посягающим на нравственное и эстетическое чувство человека, и к тому же признанным совершенно бес-

полезными. Можно смело желать, чтобы две решетки, разделяющие эту казарму, были вынуты и проданы на грохота, а на вырученные за них деньги казарма была бы выбелена и снабжена стульями с возвышенным местом для тюремщика. Впрочем у нас есть довольно специалистов, которые лучше меня могут сказать, как должно устроить parloire. Я думаю, что его можно устроить так, как он устроен в одной парижской тюрьме.[3] Такая переделка комнаты для свидания в столичной тюрьме была бы очень полезна, и казарма перестала бы тискать в душу то отвратительное впечатление, которое теперь естественно должны выносить из нее арестант и посетитель, лишенные возможности подать друг другу руки, когда обоим им хотелось бы выплакаться на груди друг у друга. Тюрьма ведь устраивается для того, чтобы оберегать общество от вредных людей, а не для того, чтобы ожесточать человека, еще не потерявшего способности любить, жалеть о прошедшем и желать вести иную жизнь в будущем. Зачем же отнимать у лишенного свободы человека последнее утешение: видеть лица, со-

чувствующие его несчастью, и оживать с ними от гнетущего однообразия тюрьмы? Это не может входить, да и не входит в соображения законодательства. Это просто старина и нелепость, на которую я считаю долгом обратить внимание просвещенных благотворителей и благотворительниц тюремного комитета. Их влияние в этом деле может быть далеко не бесполезным, а в том, что они захотят употребить это влияние, я пока сомневаться не смею.

Из этой казармы мы вышли опять теми же дверями и вступили за вторые ворота. Здесь (между вторыми и третьими воротами) стоят часовые с ружьями и какой-то солдат обыскивал другого солдата, который спокойно поднимал поочередно руки и заворачивал полы своей шинели. Обыск должен производиться всякому, входящему за третьи ворота на тюремный двор, но нас, однако, не обыскивали, конечно потому, что Л. — «начальство», а я его protégé.[4] А у меня, как на грех, были в кармане никогда, впрочем, не разлучающиеся со мною запрещенные вещи: перочинный ножичек и сигары. Я только тут вспомнил о

злокачественности этих вещей и, благоразумно умолчав о них, безвредно сохранил их при осмотре всей тюрьмы. Никаких беспорядков от этого не последовало, и я благополучно вынес свою контрабанду на улицу, где ножичек можно всем показать, а сигары даже можно и закурить, но с тем, разумеется, чтобы этого опасного действия не заметил городской или подчасок, имеющие право спровадить легкомысленного курителя в съезжий дом или «к надзирателю». Этим наша столица отличается от других европейских столиц, где люди невежественно дымят на улицах и скептически не верят в возможность зажечь тротуарные плиты или чугунные столбики.

Впрочем, вступив за первые решетчатые ворота (вторые с улицы), мы не пошли прямо в следующие, а повернули налево по длинному коридору, с которого видна была большая часть тюремного двора, обсаженная молодыми прутиками акации или другого какого-то растения. Пройдя несколько коридором, мы вошли в комнату, в которой передняя часть была обставлена простыми, крепкими стульями, потом было что-то вроде барьера, дальше

канцелярский стол и официальная фигура с бумагами в руках, а в конце комнаты дверь направо. Из этой двери вышел военный генерал, смотритель тюрьмы, которому Л. представил меня в качестве посетителя и заявил ему свое желание показать мне тюрьму. Генерал приветливо поклонился и предложил провожатого, которого мы, однако, не взяли.

Выйдя из конторы, мы пошли далее по тому же коридору до двери, у которой стоял унтер-офицер с очень неглупым и солдатски честным лицом. Л. назвал его Ярошенком. Он отпер нам двери в церковь. Там шла обедня. Церковь внутри довольно красива; в ней светло и воздух легкий; иконостас отделан позолотою. Посредине между рядом колонн стоял дьячок, читавший очень внятно и не спеша, сзади его несколько пожилых дам в чепцах. Эти дамы занимают разные должности при женской тюрьме. Затем, если я не ошибся, — одиннадцать девочек, по-видимому, от 7 до 12 лет и одна девушка, взрослая, но еще очень молодая. Все эти девочки стояли парами, а взрослая девушка сзади них, и рядом с нею самая маленькая девочка. Мне ска-

зали, что этот ребенок (девочка лет 6 или 7) приведен сюда недавно, а прежде он жил в женских публичных домах и переходил из одного дома в другой. Вероятно, ее хотели выкормить пока подрастет, но судьба решила иначе: ребенка, не знающего родителей, взяли в тюремный детский приют и воспитывают вместе с детьми других несчастных. Это — дети содержащихся в тюрьме женщин. Матери некоторых из этих девочек и теперь содержатся в тюрьме, а другие уже сосланы. При ссылке матерей им предоставлено право требовать дочерей с собою или оставлять их здесь, где о них заботятся благотворящие дамы. Девочки одеты все в одинаковые платья, и на плечах у них тоже одинаковые цветные платки. Лица свежи и не изнурены, в манерах заметна пансионская выдержка; ее же можно видеть и во взрослой девушке (которая, как мне сказали, выросла тоже в тюрьме). Детей мужского пола в церкви не видал, и есть ли для них приют в тюрьме, забыл спросить; о помещении же и порядке в приюте, устроенном для девочек, я скажу в своем месте. За деревянную низенькою решеточ-

кою сзади дам и девочек стоят пять или шесть арестантов в чистом белье и сюртуках, а один впереди всех у самой решетки во фраке. Они сегодня причащаются и потому стоят внизу, а не на хорах. Между этими арестантами один — карла, имевший очень известную историю с очень известным лицом.

Кругом церкви до колонн, отделяющих средину, устроены три ряда хор с решетками. В первом ярусе полукруглые окна, а два верхних все открыты и просто загорожены решетками. В первом никого не видно, и я только думаю (судя по виду), что там тоже должно быть помещение; во втором и в Третьем ярусе, с правой стороны, стоят арестанты мужчины, с левой во втором — женщины, а в третьем опять мужчины. Внизу около задних колонн сбоку главной двери отгорожены особыми решетками два угла. В углу направо стоит семь, а налево, кажется, пять человек арестантов, закованных в кандалы. Это убийцы. В углу направо стоят два человека, приговоренные к наказанию плетьюми через палача, одному назначено 65 ударов, другому что-то меньше. Лица есть очень молодые и совер-

шенно симпатичные. Глядя на этих людей, из которых один плакал, я не чувствовал себя в обществе злодеев *con amore*. Мне они казались людьми, не умевшими управлять своими страстями, людьми, сбитыми с прямого пути и дошедшими до нравственного бессилия, но отнюдь не кровожадными зверями, не злодеями вроде учителя в «Парижских тайнах» или вроде субъекта, которого я после встретил в одном секретном каземате. Тот, которому назначено 65 ударов, рослый и плотный малый, хранит на лице спокойствие, непонятное в человеке, которого, как только пройдут праздники, рано утром повезут на Конную площадь и будут бить по обнаженной спине треххвостной плетью, так что деревянная доска, к которой его привяжут ремнями, будет коробиться от судорожных движений его мускулов. Все эти несчастные придерживали руками цепи, чтобы они не заглушали церковного чтения. Л. старался каждому из них сказать что-нибудь ободряющее, и я заметил, что арестанты встречают его не без радости. Но что он может сказать радостного осужденному к 65 ударам? Чем поддер-

жать его дух?

— Молись, мой друг. Хорошо сделал, что пришел помолиться, — говорит ему полушепотом Л.

— Как не молиться! Я и вчера был, молился.

— Ну и прекрасно сделал. Все легче.

— Да, легче будто. — Арестант тяжело вздохнул.

Другие тоже, придерживая цепи, придвинулись к Л., и все что-то зашептали, так что я ничего не мог разобрать. Отсюда через так называемые западные двери мы взошли на хоры, прямо перед иконостасом. Рядом слева были арестантки, а справа арестанты. Мы остановились в глубине хор, и арестанты нас не могли видеть, тогда как мы видели их очень хорошо. Не успели мы простоять здесь пяти минут, как Л. подозвал к себе пальцем следовавшего за нами Ярошенка и, указав ему рукою на одного из арестантов, стоящих во 2-м ярусе хор с правой стороны, сказал:

— Поди, останови его; скажи, чтобы не шалил, а то посадят в карцер.

— Что он делает? — спросил я.

— А вон смотрите.

— Где?

— Вон, ближе к алтарю, возле второй колонны.

Я стал всматриваться. Молоденький арестант очень быстро и ловко делал пальцами какие-то знаки на женскую половину хора. На его знаки ему оттуда, вероятно, тоже телеграфировали, потому что, окончив одну телеграмму, он чрез несколько мгновений начинал еще проворнее посылать другую, ожидая только, пока статья обозначится там, куда она послана. Ярошенко очень долго обходил по коридору и, пока протолпился через арестантов, стоявших ближе к двери, телеграфирующий арестант принимался за свое дело три раза. Наконец ундер дошел до указанного арестанта и пошептал ему что-то на ухо. Деша прекратились, и арестант стал скоро креститься. На женских хорах слышался крик и падение. Кому-то сделалось дурно. Женщины засуетились, бросились в одну сторону, но показалась дама в коричневом платье, и все успокоилось. И здесь стали опять молиться.

— Могут они видаться между собою? — спросил я.

— Нет, никакое сближение невозможно; но бывают случаи, что между арестованными завязывается сердечная склонность и начинается переписка.

— Как же они передают письма?

— А за этим усмотреть очень трудно. Чаще всего они прячут свои письма в дрова или в другое условное место, откуда тот, кому адресовано письмо, и берет его во время гулянья или идя за дровами. Теперь и против этого приняты меры, а в старину все случалось.

На клиросе поет хор, составленный из арестантов. Поют очень недурно.

Мы зашли еще на те хоры, где стоял телеграфист.

Там очень тесно и сильно пахнет острым потом. Арестанты одеты в каких-то балахончиках из солдатского сукна, с низенькими цветными воротниками; у одних эти воротники голубые, у других красные, сделавшиеся от времени малиновыми. Я спросил о значении этих разноцветных воротников и получил в ответ, что они имели значение прежде,

при покойном императоре, при котором они введены, а теперь даются без всякого категорического разделения, кому какой придется.

Из церкви по тому же коридору мы вошли в женскую половину. Но здесь я должен рассказать небольшое, довольно смешное происшествие. Выйдя снова в коридор, мы увидели солдата, который вел какую-то женщину, одетую, как обыкновенно одеваются пожилые мещанки.

— Откуда? — спросил я. Солдат смотрел выпуча глаза. Я повторил вопрос:

— Откуда ведешь арестантку?

— Это, аше скабродие, с подаянием.

— А! извините, матушка. Пожалуйста, пожалуйста вперед.

— Ничего, батюшка. Нечем обижаться-то. Ни от сумы, ни от тюрьмы не отрекайся. Тюрьма, батюшка, еще не винит. — И женщина заковыляла за солдатом.

Прежде мы зашли в столовую. Комната довольно большая, но темна. Столы кругом; в чашах квас не то с редькою, не то с хреном и с конопляным маслом. Попробовал — есть можно. Рабочие весь пост едят гораздо хуже.

Дама, наблюдающая за порядком в столовой, пояснила мне, что это кушанье из самых плохих и подается только по случаю такого дня, как страстная суббота. Хлеб прекрасный, соль белая.[5]

Мы прошли через столовую и в дверях встретились с какою-то изнеможенной женщиною, которая прямо повалилась в ноги Л.

— Встань! встань, матушка! — говорил он, поднимая ее на ноги.

— Ваше высокоблагородие, помилуйте! Заступитесь! Который год Бог знает за что содержусь. Смерть моя! Хоть бы какое решение было.

— За что она содержится? — спросил Л.

Дама, к которой относился вопрос, не могла на него отвечать, Ярошенко тоже.

— Это к тебе дочери ходят? — спросил Ярошенко женщину, как бы желая этим вопросом привести себе на память ее историю.

— Ко мне, — отвечала женщина сквозь рыдания и опять бросилась в ноги Л.

— Да кто ты такая? Как тебя зовут?

Дама назвала арестантку по имени и отчеству.

— Скажи же, за что ты судишься? Ведь лучше говорить правду, а то только время тра-тишь.

— Билет мне проклятый навязывала полиция, а я его не хотела принимать.

— И только?

— Только.

Бог знает сколько в этом правды. Женщи-на эта немощна, бледна и худа как скелет: под плотно прилегшей спереди рубашкой видна совершенно плоская грудь, и все суще-ство ее выражает одно страдание. Непосред-ственно она, мне кажется, давно не могла слу-жить разврату и в качестве посредницы мог-ла примкнуть к этому ремеслу разве только в силу тех страшных экономических условий, с которыми в наше время встречается женщи-на, не имеющая возле себя рабочего мужчи-ны или наследственного, верно обеспечиваю-щего ее капитала. В лице арестантки нет ни наглости, ни вкрадчивой ласки, ни ложного благочестия, ни поддельной гордости, кото-рыми отличаются лица дам, «пускающих в ход» простодушных девочек и безрасчетно са-монадеянных «эмансипе». У ней в глазах ка-

кой-то постоянный испуг и беспокойство. Л. и ей обещал что-то. Ему так часто приходится обещать, что едва ли он, при всем своем желании (в которое я очень верю), может сделать половину того, что обещает. Для всякого, кому Л. что-нибудь обещал, обещание это очень дорого, и каждому очень больно видеть обманутою хоть одну свою надежду. Чтобы приобрести доверие и расположенность арестантов, необходимо самое тщательное внимание к их просьбам о делах и аккуратное исполнение данных на эти просьбы обещаний. Арестанты ценят это дороже сладких слов и забот о приварке. И просьбы их таковы, что их всегда можно выполнить; они обыкновенно просят только узнать, как стоит дело, да как-нибудь ускорить его. Об изменении существа решений они не просят, потому что очень хорошо знают, от кого что зависит. Конечно, стряпчие и прокуроры обязаны давать им отчет о положении их дел, но ведь мало ли кто чего ни обязан и мало ли как нельзя очистить свою обязанность? Все будет исправно, а арестанты за грошевые кражи все будут по целым годам коптить тюремные сте-

НЫ.

Отсюда мы прошли в прачечную, которая устроена, кажется, довольно удобно и для работы, и для рабочих. Пол каменный, с покатом к середине, где вделана продырявленная плита. Большие круглые лохани для стирки стояли опрокинутыми, так как в субботу работы не было; для отвода пара устроена деревянная труба. Я не техник, но сколько понимаю дело, мне кажется, что с такою прачечною обходиться можно. За стирку белья арестанты получают задельную, весьма, впрочем, низкую плату.

Из прачечной мы поднялись в общую женскую комнату. Когда мы шли по лестнице, меня поразил какой-то безумный крик. Поднимаясь выше, я мог отличить слова песни, распеваемой тем напевом, каким обыкновенно поют сумасшедшие: весело, скоро, громко и со вскрикиванием.

— Что это? — спросил Л.

— Дурочка поет, — отвечала дама.

У лунного просвета наружной галереи стояла певица и продолжала свою песню, размахивая руками над головою и слегка покачива-

ьясь из стороны в сторону. На дворе стояла куча арестантов, одетых по-немецки, в пальто и шинелях, а посредине этой кучки красовалась высокая фигура в черкеске и высокой белой папахе. Это арестанты дворянского отделения и между ними получивший огромную известность г. Караханов. Кучка то раздвигалась, то сдвигалась, группируясь около Караханова, который стоял, подперши «руки в боки», как сидят обыкновенно игрушечные гусары. Дурочка смотрела на дворян и старалась кричать как можно громче. Слов песни я разобрать не мог. Странный резонанс мешал их расслушать.

— Эй ты, послушай! — крикнул ей Ярошенко. Певица не слыхала или не хотела обратиться своего внимания на это воззвание и продолжала петь.

— Послушай! — крикнула надзирательница и назвала арестантку по имени.

Арестантка оглянулась и, увидав Л., бросилась к нему со всех ног, прихлопывая себя ладонями по ляжкам.

— Барин хороший! Ваше благородие, дай ручку. — Она бросилась ловить его руку, кото-

рую Л. отнимал, говоря ей: «Не надо, не надо».

— Нет, дай, дай ручку.

Она наконец-таки поймала руку Л. и, чмокнув ее своими слюнявыми и синими губами, скороговоркой сказала:

— Дай грошик.

— А не будешь петь?

— Дай грошик, — повторила безумная.

— Петь не станешь?

— Грошик дай, голубчик; я его спрячу.

— Я дам, если не будешь кричать.

— Ну дай.

— Только не кричи. — Л. вынул две серебряные монеты и дал их арестантке. Она схватила их, как тигренок в клетке зверинца схватывает кусок мяса, неожиданно шмыгнула между мною и Л., бросилась сначала в один угол коридора, потом в другой, и все лепетала: «Я их спрячу, сейчас спрячу».

Только не кричи, — сказал Л.

Арестантка молчала и продолжала суесться.

— Слышишь! не кричи, а не то посадят в карцер.

— Нет, за что в карцер? Я не буду кри-

чать, — пробормотала арестантка и опять метнулась со своими деньгами. Карцера здесь, кажется, все очень боятся.

— Теперь ей пошли хлопоты с деньгами, — сказала, добродушно улыбнувшись, надзирательница.

— Скажите, пожалуйста: зачем ее здесь держат? Ведь ясно, что она слабоумная или сумасшедшая, — спросил я.

— Подите же! Посылали на освидетельствование, так ученые порешили, что она здорова.

— Странно!

— Что же делать?

— Она всегда такая?

— Всегда.

— За что ж ее арестовали?

— За бродяжество.

— И будут держать в тюрьме?

— Да вот держат.

Мы взошли с галереи в коридор. Хотели идти в больницу, но не пошли, потому что там оспа, а у Л. дома дети. Пошли в общую женскую тюрьму.

У женщин очень большая и светлая ком-

ната с крашеным полом. Комната эта, если не ошибаюсь, помещается именно в том полукруге, который выходит к месту, ведущему из Коломны к Большому театру. Ее здесь и называют круглой залой. Помещение это более напоминает больницу или пансионский дортуар, чем тюрьму. Со входа налево у стены помещается огромный умывальник красной меди, блестящий как зеркало; под ним соответствующий умывальнику полукруглый таз из того же металла и тоже вычищенный необыкновенно тщательно. Кругом стен стоят очень чистые кровати с одинаковыми опрятными постелями, покрытыми одинаковыми же белыми одеялами. Кровати уставлены изголовьем к стенам, а ногами к центру комнаты. Между некоторыми кроватями есть проход такой, какой обыкновенно бывает в пансионах, а некоторые придвинуты одна к другой вплотную. Почти посредине комнаты, впрочем, немного ближе к окнам, небольшой стол, на котором разложено выстиранное и выкатанное белье. Несколько женщин складывают его поштучно и укладывают в корчагу. Все женщины одеты очень опрятно в оди-

наковые платья из мелко-клетчатой материи: тик это или холстинка, я разобрать не умею, но что-то в этом роде. Полы очень чисты, на окнах есть растения, и вольные лучи солнца, согревающего праведные и грешные, прорываясь сквозь оконные переплеты, отражаются на полу и бегают светлым зайчиком по одной стене.

По числу кроватей, которые здесь стоят, мы застали очень мало арестанток. Все они в церкви: в комнате только 10–12 человек.

— Здравствуйте! — говорит им Л.

— Здравствуйте, Петр Семенович! — отвечают несколько женщин разом.

Они смотрят на Л. очень дружелюбно и не титулуют его ни скобродием, ни полковником, а зовут по имени и отчеству.

— Стыдно не идти в такой день в церковь, — говорит им Л. тоном дружелюбного упрека.

— Мы, Петр Семенович, хотели идти, да вот белье нужно сдать.

— Видите, как спешим? — сказала очень хорошенькая собою молодая девушка, проворно и ловко укладывая несколько штук

сложенного белья, которое она держала между левой рукой и прекрасно очерченной грудью.

Девушка эта показалась мне субъектом очень замечательным. Ей на вид лет 18, много 20. Она среднего роста, но очень стройна, темно-русые волосы причесаны гладко и без претензий, но чрезвычайно мило обрамляют свежее молодое личико, которое мало назвать хорошеньким: так много в нем изящного. Но всего замечательнее в этом лице не его пластическая красота, а прелесть его выражения. В довольно полных алых губках видна изрядная доля чувственного элемента, на обеих щеках, покрытых здоровым румянцем, маленькие ямки, обозначающиеся при каждой улыбке; смелые и умные карие глаза смотрят ласково и весело, но в немного выдавшемся вперед подбородке и тонких раздувающихся ноздрях видна решительность и сильная воля. Вообще лицо и фигура арестантки заставляют смотреть на себя, и она, кажется, это очень хорошо знает. Кто хорошо помнит портреты исторических женщин Франции, тот заметил бы в лице этой русской бродяги

(это девушка-бродяга) некоторое сходство с известным портретом честнейшей и благороднейшей из жирондистских женщин, имя которой не хочется упомянуть в статье, касающейся уголовной тюрьмы. Впрочем, и известные виды уголовщины — дело условное. За группой женщин, убиравших белье, видна отворенная дверь и за нею шагах в трех — стена. На пороге двери, держась ручонкою за притолку, стоит девочка лет пяти или шести. Ребенок одет очень чисто, на нем коротенькое платьице, сшитое очень ловко, и панталончики с кружевом внизу. Чулочки чистенькие, башмачки крепкие, головка причесана. Ребенок, покачиваясь, смотрел на Л., и, когда тот подошел к двери, дитя подало ему ручку и очень ловко присело. В глазах ребенка видна скука и утомление. Л., держа ее за руку, сказал мне:

— Посмотрите, какое милое дитя!

Я счел это за приглашение подойти ближе и подошел. В комнате, в которой я, впрочем, видел сквозь дверь один только угол, видны были два старые стула и на окне очень старая зеленая штора. Перед этим окном стояла, по-

луоборотясь к Л., высокая женщина не первой молодости. Лицо ее я не мог хорошо рассмотреть, потому что при моем приближении к стоявшему в дверях ребенку она быстро повернулась ко мне спиною. Ей, казалось, неприятно видеть чужие лица, и потому я поспешил отойти от ее двери. Л., поласкав девочку и обещав ей взять ее на праздниках поиграть к детям, тоже хотел идти за мной.

— Monsieur le colonel![6] — слышалось из комнаты.

Л. вошел в комнату и через две минуты вышел оттуда, сказав уже на самом пороге:

— Volontiers.[7]

Я забыл кого-нибудь спросить, отчего эта дама не затворяет дверей своей комнаты: сама ли она не хочет этого, или ей не дозволено затворяться.

Когда мы поравнялись с кучкою арестанток, они не работали, а стояли все в ряд, облокотясь слегка о кровати.

— Петр Семенович! — сказала надзирательница. — Вот они имеют жалобу и непременно требуют к себе генерала.

— Да, мы требуем генерала, — отозвалась

описанная мною красивая девушка. Лицо ее не было нисколько гневно, и она говорила смело и покойно, хотя не без заметной раздражительности.

— На что вам генерал?

— Это наш секрет. Мы его просим, пусть он придет сюда.

— Да что ж секрет! Скажите ваш секрет Петру Семеновичу. Ведь это все равно, я думаю, — вмешалась дама.

Женщины молчали и смотрели на девушку, которая стояла грациозно, скрестив руки на груди, и иронически улыбалась. Заметно, что она имеет в своем кружке репутацию.

— Секрет пустой, а зачем обижать бедных арестантов? — проговорила она после минутного молчания, и на лице быстро выступили красные пятна.

— Да в чем дело-то? — спрашивает Л.

— Извольте видеть, Петр Семенович, — вмешивается опять дама, — вчера было денежное подаяние пятьдесят рублей, что ли, и назначено было самим жертвователем раздать его нескольким человекам по одному рублю, а нескольким по три, ну так вот — за-

чем не всем поровну роздано?

— А жертвователь назначил, кому именно из арестантов сколько отдать?

— Нет, этого не назначал, а...

— А то-то и есть, — сказала девушка. — А роздали все благородным. Что тут за благородство? — продолжала она, все более и более воодушевляясь. — Они не работают, они лучшее помещение получают, их лучше кормят, и им же дают по три рубля, а тут руки до костей обобьешь за тридцать копеек. Нет, попросите к нам генерала, мы хотим его видеть.

Говорившая, окончив свою речь, отвернулась от дамы и от Ярошенко, на которых она пристально смотрела, высказывая свое неудовольствие. Л. молча смотрел на даму и на Ярошенко.

— Так жертвователь назначил, аше скрободие, — сказал Ярошенко.

— Да. Но ведь не жертвователь же назначил, кому именно дать по рублю и по три, а кому ничего?

— Никак нет-с.

— Ну и надо было дать всем жребий, и все бы были довольны, и никто не жаловался бы.

— Разумеется, — отозвалась девушка и снова стала пристально смотреть на Ярошенко, который поспешил согласиться с этим мнением, сказав: «Точно так-с».

— А я тут ничем, Петр Семенович, не виновата, — сказала надзирательница.

— Да вас никто и не винит, — нетерпеливо отозвалась девушка, сделав кислую и выразительную гримасу.

— А вы все же не бунтуйте, — сказал ей Л., — а то — в карцер, — прибавил он шутя.

— Что карцер? Тут тюрьма, там тюрьма, все одна тюрьма.

Ноздри у нее широко раздувались, и она крепко прижала ладонями свои круглые груди. Я посмотрел на тонкие черты ее энергического личика, потом на обстановку и невольно подумал:

*Дайте крылья мне
Перелетные!
Дайте волю мне,
Волю сладкую.*

Это было первое существо в тюрьме, которое презрительно отозвалось на угрозу карцером, и можно думать, что это существо так же

презрительно отнесется ко всякой угрозе. Это одно из тех лиц, посмотрев на которые внимательно один раз в жизни, помнишь их очень долго, сразу их понимаешь и... сочувствуешь им, не распытывая ничего о их прошлом.

Впрочем, выйдя из «круглой залы», я не утерпел и спросил надзирательницу о вине этой девушки: она судится за бродяжничество и содержится в тюрьме два года. Теперь дело ее в сенате, и ей один из директоров обещал доставить сведение о времени решения, которого она ждет с нетерпением.

Еще забыл сказать, что, выходя из залы, мы заметили на второй койке от двери женщину, которая лежала, уткнувшись в подушку и откинув руки с согнутыми в горсть пальцами. Это та арестантка, которая упала в обморок на хорах. Я хотел взглянуть ей в лицо, но его не было видно за подушкой, а судя по рукам и стану, обтянутому платьем, я думаю, что это женщина не старая.

В другом женском отделении, которое называется, кажется, благородным или дворянским, нас встретила девочка трех или четы-

рех лет, дочь Сусанны Сюзорской, замешанной в известное дело Синко и Гильяшвили. Дитя делало реверансы и задом подвигалось к отворенной двери: за эту дверь (налево из коридора) содержится ее мать и еще какая-то женщина с черными, как смоль, волосами. Она, кажется, не очень здорова, лицо истомленное и печальное. Сусанна Сюзорская молода и еще сохраняет заметные следы бывшей красоты. Лицо довольно симпатичное, но холодное. Л. дал ребенку серебряную монету, я тоже, и дитя начало опять свои реверансы. Все, глядя на девочку, рассмеялись. Сюзорская ожидает, что ее скоро возьмут на поруки. Она говорит по-польски. Другая ее сожительница тоже, кажется, полька. Впрочем, я не знаю, почему мне это кажется.

Дитя Сюзорской ласкается к надзирательнице, и она, должно быть, женщина не без сердца. Дай-то Бог, чтобы дамы эти умели быть для несчастных не одними надзирательницами.

В другие женские камеры мы не пошли.

Детский приют устроен очень удобно. Впрочем, кажется, он весь состоит только из

просторной и светлой комнаты, перегородженной надвое. В одной половине ее спальня. Здесь стоят чистые кровати с белыми фланелевыми одеяльцами и туалетное зеркало. В другой половине диваны, стол и портрет покойного императора Николая. Обедня еще не кончилась, и девочки были в церкви. Л. говорил мне, что детей здесь учат читать, писать, арифметике и географии. Мне хотели показать детские работы, но ключ от комода, в котором лежат оконченные работы, был у дамы, слушавшей вместе с детьми обедню. Женщина, которая при нашем входе в приют копалась над чем-то в передней, принесла только женскую рубашку с множеством складочек на груди, вышитым воротником и рукавами. Работа очень тщательная и искусная.

Матерям дозволено навещать своих детей в приюте, но я не спросил: допускается ли эта беседа без свидетелей. Комитет, говорят, намерен совсем вывезти приют из стен тюрьмы и поместить его вблизи тюремного здания. Хочется думать, что при этом позаботятся о возможности свидания детей с родителями, так, чтобы свидания эти не стоили по-

следним долгих хлопот и затруднений.

Мужская тюрьма совершенно в противоположном конце большого, обставленного тыном тюремного двора, и мы отправились туда. Все, что мне было показано до сих пор, Л. назвал казовым концом тюрьмы. Казовый конец кончился, и должен был начаться другой.

Тюремный двор очень велик. Он вымощен камнем и обсажен прутиками, о которых я говорил прежде. По сторонам идет высокий бревенчатый частокол, окрашенный желтою краскою. За этим частоколом маленькие садики. Тут есть опять лавочки, две или три клумбы и около этих клумб дорожки. В садик входят в калитку, которая запирается снаружи железной задвижкой. Теперь, пока, в этих садиках не видно ничего кроме скамеек и тощих прутиков; но летом они, говорят, обращаются в порядочные цветники, а через несколько лет, может быть, в них будут и деревца. Садики эти устроены комитетом, а прежде здесь сваливали мусор и пр. На дворе мы застали ту же группу благородных арестантов и Караханова в высокой папахе, но не подходили к ним и ни о чем с ними не говорили. По направлению от мужской тюрьмы шли два мужика, у одного за спиною сбитенная баклага и на животе прилажен ряд стаканов, другой без всего. Завидев Л., оба мужика сняли шапки.

— Это зародыш нашего тюремного *santinier* (маркитанта), — сказал мне Л., указывая на подходящих к нам мужиков.

Мужики поравнялись с нами. Тот, у которого за плечами висела баклага, сказал: «Здравствуйте, ваше высокоблагородие!» Л. отвечал на его приветствие.

— Вот, ваше высокоблагородие, будет мой товарищ, — продолжал мужик, указывая на своего спутника.

Тот довольно низко поклонился и поправил рассыпавшиеся кудри.

— Это уж твое дело; ты должен сам смотреть.

— Этот товарищ-то твой? — спросил Ярошенко.

— Этот, Иван Григорьевич, — ответил сбитенщик.

— Этот, брат, не годится.

Сбитенщик взглянул на товарища, потом на Л., потом на ундера.

— Ты меня знаешь? — спросил ундер сбитенщикова товарища.

— Знаю, — ответил мужик.

— Знаешь?

— Знаю, знаю.

— То-то знаешь! Он здесь содерживался, аше скобродие, — доложил Ярошенко Л.

Мне показалось, что Иван Григорьевич Ярошенко как-то очень недружелюбно смотрит на допущение в тюрьму сбитенщика, и я старался разъяснить себе это. Частию мне это и удалось, но я расскажу об этом в своем месте.

Под предводительством Ярошенки мы обошли общие простонародные арестантские камеры. Их что-то очень много, но многого сказать о них нечего. Комнаты довольно просторные с довольно скверным воздухом. В коридорах воздух гораздо чище, несмотря на то, что они ближе к ретирадным местам. Полы в камерах некрашенные, но содержатся довольно опрятно.

Очень грязны только две комнаты, из которых одна набита татарами. Один из татар закован по рукам и ногам. Я невольно остановился перед этим несчастным, которому нельзя сделать ни одного свободного движения. Л. сказал, чтобы арестанта облегчили на первый день Пасхи. Эти камеры ничем почти

не отличаются от обыкновенных тюремных казарм в губернских острогах. Те же грязненькие деревянные бочонки с кольшками для выпуска воды, ковшики и лоханочки под козелками, на которых стоит бочонок. Вместо кроватей какие-то скамьи, прикрепленные петлями у изголовья к стене, так что каждую скамью можно взять за ножки и поставить стоймя к стене. Это сделано довольно удобно, но кровати смотрят очень неприятно. В одной камере Л. приказал арестанту показать мне, как убирается кровать. Арестант исполнил это одним приемом, но в то время, как он поднимал постель, из-под нее показался какой-то кусочек бумажки. Ярошенко тотчас схватил эту бумажку и, осмотрев ее с видом знатока, бросил на пол. Это был просто белый клочок писчей бумаги.

Во многих камерах мы встречали по два и по три арестанта, а все остальные были в церкви. Замечательно, что все они ни о чем не просили; только татары просили купить им коран.

— Да не могу найти корана-то, — сказал Л.
— Как не найти! надобить-ба найти.

— Нету.

— Мулла говорил есть.

— Ну и прекрасно. Скажите своему мулле, чтобы он получил деньги и купил вам кораны. Татары благодарят.

— Вонь у вас, — говорю я одному татарину. — Вы бы у себя форточки открывали.

— Нет, ничего.

Ярошенко открыл, однако, форточку, которую, конечно, опять заперли, как только мы вышли за дверь. А воздух, просто хоть топор повесь, так удержится.

В двери всякой камеры есть окошечко, а возле доска, на которой написано мелом: номер камеры, число содержащихся в ней арестантов и имя арестанта-старосты, а в углах коридора длинная доска с полинявшими надписями. Там всего чаще начертано слово запрещается. Это правила, которыми очень многое «запрещается» арестантам и, между прочим, воспрещаются «всякие резвости». Мы многих камер вовсе не осматривали и в этом отделении зашли только еще в мусульманскую мечеть и в лютеранскую церковь. Мечеть помещается в очень небольшой ком-

нате с застланным полом. В середине постилки вшит квадрат из цветной материи, а в углу кресло. Лютеранская церковь тоже невелика, но довольно изящна и содержится в чистоте. Из этого отделения мы прошли в дворянское. Здесь нет таких больших камер, как в простонародной тюрьме, а все небольшие комнаты, в которых видно по две и есть, кажется, по три кровати, но более я не видал. В некоторых комнатах очень чисто: занавески, покрытые столы, ковры у кроватей, даже женские портреты и пр. При входе Л. многие арестанты вышли к нему в коридор. Они имеют право ходить по своему коридору.

— Петр Семенович, — сказал какой-то молодой человек лет 20, — пожалуйста, похлопочите, чтоб меня не тянули.

— Похлопочу, непременно похлопочу.

— А то уж пятую неделю содержусь.

— Ах, неопытность! — сказал улыбнувшись Л. — Пятая неделя! А вот сосед-то, посмотрите.

— Два года, — отозвался другой молодой человек с очень уставшим видом и махнул рукой.

В благородном отделении нет особенно характерных лиц, все точно с Невского проспекта. Караханов в этом случае составляет резкое исключение, зато он и далеко виден в своей азиатской сбруе. В длинном коридоре мы встретили несколько арестантов, возвращавшихся с какой-то работы. Они шли свободно, без всякого конвоя. В столовой очень длинные столы, на которых блестящие металлические чашки и кружки. Комната очень чистая и светлая. Вообще здесь совершенно не то, что в 3-й адмиралтейской части, и столовая тюрьмы, без всякой натяжки и преувеличения, ни дать ни взять трапезная Киево-Печерской лавры, даже для довершения сходства в конце столов в простенке помещается большая икона с горящей лампадой и налой, на котором лежит церковная книга. Во время обеда арестантов один из них читает эту книгу, а остальные едят и хранят безмолвие. Этот обычай в подобных местах очень уместен. Осмотрев столовую, о которой можно отозваться с совершенной похвалой,[8] нам еще осталось увидеть кухни, мастерские и секретную тюрьму. Прежде всего мы отправились в

секретные казематы. При входе в коридор, в котором расположены секретные казематы, стоит часовой с ружьем и примкнутым штыком. Это, кажется, первый часовой, которого я видел внутри тюрьмы. В других отделениях вовсе не видно часовых, и где помещается тюремный караул, состоящий из 70 человек (на 860 арестантов), я не знаю. В это хорошо бы всмотреться господам, заведующим губернскими и уездными тюрьмами, где ставят часовых чуть не на каждом шагу, а все без пользы, ибо арестанты благополучно убегают не только из острогов, но и из таких капитальных учреждений, какова могущественная киевская крепость. Дверь в коридор секретного отделения заперта большим замком, ключ от которого не у Ярошенки, а у часового.

— Отопри двери, — говорит Ярошенко. Часовой стоит. Не расслушал он или по порядку ожидал приказа старшего — не знаю.

— Отвори, — сказал ему Л.

Ключ почтенной величины скрыпнул, тяжело щелкнул, и дверь отворилась. В коридоре двери по обеим сторонам. Вблизи со входа дверь Сипко. Каземат, отведенный Сипко,

именующемуся теперь поручиком Скорняковым, имеет аршин пять в длину и аршина четыре в ширину. Узенькое окно, как во всех казематах, вверху, на нем темно-зеленые занавески из довольно тяжелой шерстяной материи; в углу кровать, над которой висит большой стенной ковер, изображающий пестрого тигра и какие-то экзотические растения; прямо насупротив двери стол с письменным прибором и несколькими книгами, направо два или три стула. Изголовье кровати и простыня сняты, и ватное одеяло, покрытое зеленым атласом, сбито в ногах. Видно, что арестант только что встал при нашем приходе. Мы застали его сидящим на кровати. Л. поздоровался с Сипко и сел у стола, я взял стул и поместился возле Л. Арестант поклонился нам, не поднимаясь с кровати. Он говорит сильным голосом, и во всей его фигуре видно сильное изнеможение. У него широкий лоб, глаза умные, но беспокойные, скулы очень развиты, рот довольно велик и на исхудалом лице кажется еще большим; обнаженная шея очень худа и как-то отодвинулась от ключиц. Он человек заметно умный и не без дарований, но

заметно также, что интересы его в тюрьме частью слишком сосредоточились на себе, частью измельчали: он говорит о мелочных тюремных интригах, о Караханове, о других и в разговоре с Л. выразил сожаление к одному подсудимому. Коснувшись этого предмета, он взглянул на нас и, поправившись на кровати, прибавил: «Что ж! ведь никто не поверит, что у Сипко есть сердце?»

В каземате, насупротив Сипко, сидит молодой арестант. Это опять экс-сыщик. Очень бойкий господин.

— Что ж дело? — спрашивает его Л.

— Все тянут.

— А что же говорит NN? — Л. назвал директора, заботящегося об этом арестанте.

— Был на днях.

— Ну и что же?

— Что же! все уговаривает сознаться в том, в чем я не виноват.

— Верно уж не виноват. Директор не допросчик, ему нет нужды допытываться.

— Да так говорят.

— Как так? Верно, он знает, видел дело, читал.

— Где там читали! — Арестант улыбнулся и махнул рукой. — Чиновники им наговорили, и они тоже за ними.

— Да ведь директор рад помогать, а не топить арестанта!

— Это так, да только они сами моего дела не знают. Я ничего не делал, а начальство свое точно обманывал, так я от этого и не отпираюсь.

Арестант как-то неестественно весел и спокоен. В каземате у него совершенно пусто. На лево возле двери в каменной стене вделан шкаф — это ватер-клозет. Такой же шкаф мы видели и в каземате Сипко, и такие же шкафы, вероятно, должны быть во всех других секретных казематах. Насупротив этого арестанта в окошечко двери смотрит белокурая, растрепанная голова человека, содержимого по оговору экс-сыщика. В этот и в другие казематы мы уже не пошли, потому что становилось поздно, и я очень устал, а к тому же последний арестант очень сильно расстроил меня своим видом и тоном своего разговора, которого я передаю только часть, ибо прочее не хорошо запомнил. На дворе, увидя солнышко,

я вздохнул спокойнее, а в арестантской мастерской тяжелое впечатление, вынесенное из каземата экс-сыщика, совсем изгладилось. Здесь приятный рабочий беспорядок и мягкие, добрые лица. Комната большая, но Л. говорит, что она тесна и что готова уже еще другая мастерская. За работу мы застали только одних сапожников; их было человек 10–12. Есть очень молодые ребятки, есть и пожилые люди. Л. велел показать мне работу. Пожилой арестант с черными бакенбардами подал пару отделанных, но еще не вычищенных сапог, на деревянных гвоздях, с двойною подошвою. Товар довольно плотный и даже грубоватый, но работа прекрасная.

— Не хотите ли заказать что-нибудь на память? — спросил меня Л.

Я отвечал, что «с удовольствием».

— Они работают очень дешево, 30 коп<еек> за пару, — добавил мне Л. по-французски, — а если им что-нибудь прибавить, то это им очень дорого.

— Компан! снимите мерку, — сказал молодой арестантик.

Тот самый арестант, который показывал

мне готовую пару сапог, стал рыться между разным хламом, валявшимся на швальном столе, и, наконец, отыскал бумажку.

— Что прикажете сделать? — спросил он, когда я сел на чурбанчик, заменяющий сапожникам стул. Я заказал две пары сапог и калоши.

— Деньги пожалуете или изволите прислать товар?

— Товар купит контора, — сказал Л.

— Слушаю-с.

Мне очень хотелось поговорить с моим сапожником, но было как-то неловко, и к тому же Л. торопился далее. У него здесь много хлопот. Уходя, Л. обещал арестантам достать работы, то же обещал он и женщинам, когда мы у них были: те и другие благодарили его целым хором. Видно, что работа, которую доставляют им директора, очень их радует.

Отсюда мы прошли в пекарню. Запах свежеспеченного хлеба, сложенного в большом порядке, приятно щекотал обоняние и возбуждал аппетит, давший себя знать после долгой ходьбы по лестницам и коридорам. Л. предложил мне отведать хлеба. Хлеб здесь

двух сортов, но из одинаковой муки. Одни караваи круглы, как обыкновенные крестьянские ковриги, а другие длинные, как пеклеванные хлеба, которые продаются в булочных. Арестант-пекарь отрезал мне порядочный конец длинного хлеба, и он показался мне таким вкусным, что я съел его с большим удовольствием. Возле пекарни квасная. В ней печь, заторный чанок, очень большая кадь и несколько бочек с готовым квасом. Квас из бочек очень вкусный и хлебный. Приготавливается он не совсем обыкновенным образом. В большую кадь накладываются рядами хлеба, приготовленные из солода, и перекладываются соломой, а сверху поливается кипяток, который, фильтруясь через солод, выходит квасом. Вероятно, сюда кладут и душистые травы, потому что квас слегка отдается чем-то ароматическим.

В общей арестантской кухне очень чисто, посуда блестит лучше, чем в кухне английского клуба. Повара (арестанты же) в чистом белье и фуражках. Лица у всех рабочих арестантов, а особенно у пекарей, квасника и поваров, такие хорошие и симпатичные, что ни

один физиогномист, я думаю, не решился бы назвать этих людей преступниками.

Для благородных готовится особое кушанье и в особой кухне, которая гораздо меньше общей. В той и в другой на особых столиках стоят маленькие белые суповые чашки, тарелка и ложка, закрытые чистым полотенцем. В них длинною ложкою повар тут же наливает из котла пробу. В общей кухне мне дали отведать постные щи из капусты с сухими грибами. Щи очень вкусные; я не едал таких щей не только ни в одной крестьянской избе, но и ни на одном постоялом дворе, в которых мне часто доводилось обедать и ужинать из общей чаши с извозчиками, возившими меня на кизельной «короватке» по тысяче верст за три рубля. В благородной кухне повар подал картофельный суп. Отведал — проглотить нельзя; просто микстура какая-то. Взял еще ложку — та же мерзость. Черт знает, что за вкус! и кисло, и солоно, и сладко. Картофель, видно, свежий, хороший, и отвар такой чистый. Что за история?

— Отчего это такой странный вкус? — спрашиваю у повара.

— Чернослив тут есть, — говорит он и сам улыбнулся.

— Чернослив! в картофельном-то супе?

— Точно так.

— Зачем же это?

— Подите же! все привередничают, — говорит Л.

Отведал еще раз. Ну, теперь можно разобрать, что действительно все дело гадит чернослив, и выходит не суп и не компот, а какая-то бурда, которой нет возможности приготовить вкусно.

Еще обязательный Л. показал мне новую мастерскую с двумя большими окнами. Здесь будут работать столяры, для которых уже куплен весь инструмент и верстаки. Мастерская совсем готова, только еще пахнет краской и то потому, что в ней закрыты и окна, и двери. Их надо бы отворять, и Л. приказал Ярошенко это делать. Мастерская эта устроена в довольно большом каменном помещении, где прежде лежал запас муки. Директоры наконец успели доказать, что в Петербурге, где всякий день можно иметь муку от поставщика, нелепо громоздить запасы ее в тюрьме, и

отстояли амбар под мастерскую, и прекрасно сделали. Странная домовитость наших чиновников! Хотя что-нибудь казенное да побережь у себя, авось кусочек какой к ладоням прилипнет! Возле новой мастерской стоит серая деревянная часовня для усопших. Здание очень непредставительное. Его тоже нужно бы или поправить, или вынести за тюремные стены, в которых и без покойников нудьга берет человека за живое сердце. Тут же около часовни и мастерской за частоколом стоят печальные повозки, в которых возят арестантов к допросам и к наказанию, и тут же гниет полубодранная рессорная карета, совершенно негодная ни к какому употреблению. Когда-то прежде в ней возили беременных арестанток, но теперь для них есть новый рессорный экипаж.

Идем опять по двору в контору комитета.

— А как обращаются у вас, — спрашиваю я Л., — с арестантами?

— Очень мягко; кроме карцера, нет никаких наказаний.

— Не секут?

— Нет! Может быть, в год один случай, и то

после всех мер исправления и за серьезные провинности.

Забыл спросить, за какие; но и это слава Богу! А то Господи Боже мой! что бывало-то; что и теперь еще, вероятно, бывает в губернских и уездных острогах!

Возился я раз в г. Г—ах со сдачей провианта для располагавшейся там команды. Жду у амбаров «коменданта» (так называли там г—ского инвалидного начальника из сдаточных), скучно, курить хочется, а нельзя, потому что часовой гуляет. Пойду, думаю, к чиновникам, а присутственные места совсем возле амбаров. Прихожу — судья точный Ляпкин-Тяпкин. До всего «своим умом дошел», взятки деньгами не брал, а только лошадей очень выгодно менял с просителями. Вообще большой либерал, даже, женясь на некрасивой дочери богатого купца, стал внушать горничным жены вольнодумные мысли. Все люди знакомые. Стали мы у окна и покуриваем, а со двора несутся чуки-чук, ай-ай-ай, чуки-чук и опять ай-ай-ай. Что такое? Решения при полиции исполняют.

— Это вы присудили? — спрашиваю судью.

— Не я, батюшка, а закон.

Ну, закон и закон; а все курить у окна уж больше не приходится. Пошел опять к амбарам; судья сказал, что «адмиралтейский час ударил», и тоже пошел со мной. Сходим с лестницы, а в сенях стоят три инвалидные солдата в шапках и три арестанта с выбритыми головами; один молодой парень шаровары подтягивает.

— Взбрызнули, брат? — спрашивает судья.

— Взбрызнули, — отвечает арестант, а сам еще смеется.

— Чего ж смеешься-то? — продолжает веселый либерал.

— А чего плакать-то? Отзвонили, да и все тут.

Приголтелся, значит, подумал я.

— Ты на выпуск?

— На выпуск.

Я спросил арестанта, откуда он? Оказалось, что соседний мужик, отлучался без паспорта, попался, покормил года два острожных животных и теперь дождался себе решения, «отзвонили» его и выпустят «ко дворам». Я дал соседу четвертак на дорогу.

— Вот благодарим! — сказал арестант. — По копейке за розгу как раз, — прибавил он и опять рассмеялся.

— А тебе 25 дали?

— По суду двадцать пять.

— А разве еще и без суда секли?

— Вона!

— За что?

— За что почтешь; не ходи по лавке, не смотри в окно. Вот за что!

— Где ж тебя секли?

— Да в остроге.

— Разве там секут вас?

— Да кажинная божья неделя не проходит, чтоб кого не драли, да не по-судебному, — прибавил он, — а по сту, да по двести закатывают, ажно шкура у тебя только потрескивает, язык высунешь.

— Кто ж велит сечь?

— Да острожное начальство — городничий.

— Ну а за что?

— За то ж, за что говорил.

Арестант утерся рукавом и снова рассмеялся.

— Нет, ты правду скажи.

— Да как, что сказать-то? За все бывает...

— Ну, например?

— Ну вот таперь примераче последний раз меня ух как вычесали! за то что ношник у нас погас, а погасил его риштрантик тож ненарочно, да и говорит мне: вскричи,[9] говорит, часового, а то скажут, нарочно сгасили плошку. Я подошел к двери и кричу, а на ту пору городничий. Чего, говорит, орешь? Я ему докладую: так и так мол. А он как рявкнет: мошенники, говорит, вы нарочно огонь тушите, мошенничеством заниматься хотите, да и повел меня.

— Ну?

— Ну и только, и задал баню.

— Тебе одному?

— Всем, почитай. Охочь он больно пороть-то, — добавил арестант.

— Так тебе судебное наказание уж не в страх?

— Да это что ж за страх, двадцать пять розог; поблекочешь для прилики, да и все тут.

Судья расхохотался и пошел пить «анисовую» (он любил во всем подражать великим

людям), а я к амбарам и рассказал возчикам, что видел и слышал.

— Это Мишутка! Мишутка! в поводырях ходил, мы его знаем. Года с два всего, как пропал. Смирный был парнек такой допрежь! [10]

— Посмотри ж теперь какой?

— Что говорить! в остроге хоть кого насобачат.

Тем и порешили.

Как же не обрадоваться тому, что из 800 человек в целый год уж только одного секут?

В конторе комитета в первой комнате сидит два письмоводителя, а во второй стол для директоров. Тут лежат новые столярные инструменты и большая груда книг. Книги все духовного содержания и несколько букварей. Очень жаль, что книг Нового Завета далеко меньше, чем молитвенников, а книг повествовательных я и совсем не видел. Известное дело, что народ особенно охотно читает повести, рассказы, жития святых и даже биографию, вроде биографии Ломоносова, выдержки из летописей Новгорода и т. п. Нужно бы, кажется, обратить на это внимание и делать с книгопродавцами обмен жертвуемых книг, а

то вся библиотека, пожалуй, составитя из одних святцев и молитвословов, которых довольно по одному экземпляру на целую камеру. Нужно непременно давать те книги, которые нравятся и из которых народ вычитывает примеры нравственной жизни. Такое чтение всего приличнее для заключенных, и потому нужно стараться доставлять книги, способные очищать и умиротворять встревоженный дух, а не занимать человека только процессом чтения.

Я забыл рассказать, что в благородном отделеении есть особая комната для чтения. Там я видел почти все наши газеты и не видал ни одного толстого журнала.

Пока Л. пересматривал с одним из письмоводителей какие-то бумаги, в дверь заглянул арестант, снимавший мерку с моей ноги. Он пришел ко мне «узнать насчет каблучков: сколь высоки нужно делать?» Я попросил у Л. позволения поговорить с арестантом и получил его.

— За что вы судитесь? — спросил я арестанта.

Он улыбнулся и, махнув рукой, отвечал:

— Теперь уж и не перескажешь.

— Отчего?

— Да теперь за многое; все одно за другое позацеплялось.

Передать его рассказа слово в слово я не могу, а вот его содержание.

Арестанта зовут Иван Петров Компан; он однодворец, Витебской губернии, родом поляк; имел в Петербурге сапожную мастерскую в доме Кушелева у Кокушкина моста и содержал 20 человек рабочих. Не было у него паспорта, и за это его арестовали, мастерская пошла вразброд. Выпустили его, он загулял, и остальное все пошло на ветер; стал просить милостыни, его за это взяли на Большой Морской и хотели отправить по этапу; он ушел из пересыльной тюрьмы, скрывался кое-где по Петербургу; наконец зашел в кабак с каким-то знакомым и тут (говорит, что пьяный) взят за намерение вытащить у кого-то часы. Сколько правды в этом рассказе, я, конечно, не знаю, но если он верен, то именно уж «одно за другое позацеплялось».

— Вы одиноки? — спросил я его.

— Нет, есть жена.

— Где же она теперь?

— Не знаю.

Я подумал, не семейная ли вражда была первою виною его несчастий, и спросил его об этом.

— Нет! мы жили ладно.

— Отчего ж теперь жена вас не навещает?

— Она была 7-го января.

— А с тех пор и не приходила?

— И не знаю, где она.

— Как же так!

— Да что ж делать? Баба одинокая, где-нибудь перебивается.

Я посмотрел на него — ничего, молчит.

— Не можете ли, — говорит, — пособить, чтобы скорее решили дело?

— А где теперь ваше дело?

— В уголовной палате.

Вот я и пробую пособить Компану, передавая его арестантскую просьбу через лист газеты тем, от кого может зависеть ее исполнить. Больше ничего сделать для него не могу.

Когда Л. окончил свои занятия в конторе, мы вышли из тюрьмы, и этим я должен окончить мой сегодняшний фельетон, сохраняя

себе право рассказать мои соображения на-
счет содержания арестантов по сведениям,
полученным кое-откуда за воротами тюрьмы.

IV

За воротами тюрьмы опять мы встретили людей с подаянием. Те ли же это люди, которых я видел при входе в тюрьму, или другие, я сказать не могу, но, кажется, были и прежние люди, были и новые. Между последними особенно замечателен молодой, безбородый человек, остриженный в скобку и одетый в прекрасную шубу с дорогим бобровым воротником. При нашем выходе за ворота он бросился к Л., и когда тот подал ему свою руку для обыкновенного приветствия, посетитель неожиданно поцеловал ее. Он смотрит на Л. очень благодарным взглядом, а Л., в свою очередь, отнесся к нему очень приветливо.

— А-а! приятель! Верно, вспомнил несчастных?

— Да, Петр Семенович, вспомнил. Сам страдал и о других должен помнить.

— Вот тоже около двух лет высидел, — сказал мне Л., указывая на молодого человека.

— Что же он сделал? — спросил я, приведенный в изумление молодостью предстоящего субъекта и совершенно детским, чи-

стым выражением его лица.

— Его оскопили.

— То есть как это: он сам оскопился или его оскопили?

— Его оскопили насильно.

— Так за что ж в остроге-то держать, да еще около двух лет?

— Ну пока суд да дело...

— А два года жизни пропали?

— Что ж сделаешь?

— Вы не забывайте наших бедняков-то, — говорит Л. экс-арестанту.

— Как забывать! Сам страдал, Петр Семенович, помню всякую ласку, и вашу ласку помню. Мы вот с маменькой кое-чего наготовили, привезли раздать; да не знаем, как раздать-то.

— Да в часовню сдайте.

— Хотелось бы по рукам, Петр Семенович!

— Все равно, что вы думаете?.. Дойдет все, за этим смотрят.

— Да оно так-с, только хотел бы самим от-дать.

Женщина, которую мы встретили с пода-нием в коридоре (см. «Страстная суббота в

тюремне», II), тоже непременно добивалась раздать свое приношение по рукам, и ее проводили с корзинкой в женскую столовую. Не знаю, на чем основывается такое домогательство, но полагаю, что и оно, как всякое действие, не может происходить без причины.

В тюремную часовню вход с улицы совершенно свободный. В ней, по обыкновению, стоят образа с горящими восковыми свечами и сидит какой-то человек в шапочке, какие обыкновенно носят монастырские служки. По обличью, разговору и манере держаться это должен быть солдатик. Он сидит за низеньким столиком и записывает подаяние, которое ворохами лежит на полу. Это опять куличи, пасхи и яйца, лежащие в корзинке.

— Много подаяния? — спросил Л.

— Вот извольте видеть. Один здесь ничего не поделаешь.

— Ну, потрудись для заключенных.

— Да никак не успеешь, а никто не идет помочь.

Л. сделал распоряжение, чтобы кто-нибудь пришел помогать солдатiku в послужничьем колпачке.

Подаяние, говорят, прибывало до самого вечера. Дальше я буду говорить обо всем уже со слуха, впрочем, от людей совершенно верных и остававшихся в тюрьме всю великую субботу до светлого дня.

Ночью в тюрьме произошло некоторое недоразумение, для объяснения которого я должен сказать кое-что о некоторых тюремных порядках. По распоряжению директоров попечительного комитета, когда поступает подаяние такими припасами, как, например, говядина, то припасы эти варятся в положенном размере, а из сумм, определенных на продовольствие арестантов, вычисляется столько, сколько стоят эти припасы, если бы они были куплены, и за эти деньги арестантам дается чай. Чай приносит в баклагах тот сбитенщик, которого я видел на дворе, и раздает его арестантам по одной копейке сер<ебром> за стакан с куском сахара. Такое распоряжение нельзя осуждать, потому что разом варить все мясо, которое случайно кто-нибудь пожертвует, неудобно, а мяса дается всегда определенная пропорция. Беречь же его долго негде, а продавать также неудобно. Но аре-

станты, которых, как я уже заметил, часто раздражают самые ничтожные мелочи, невзлюбили этого порядка. Кто-то буркнул, что «переводят нашу говядину, мошенничают ею», и все пошло: «Не хотим мы чаю, на что нам эта бурда; пусть нам отдадут нашу говядину». Один из директоров долго урезонивал арестантов, терпеливо выслушав все дерзкие намеки и прямые оскорбления, и арестанты наконец успокоились. Сбитенщик ночью к часу разговенья принес несколько баклаг чая и послал за остальным, но в доставлении арестантам чая произошло какое-то будто затруднение со стороны неглавного тюремного начальства, и чай простоял до тех пор, пока шесть баклаг его вылили в помойную яму, а директор Никитин заплатил за него деньги. Так на первый день история с променом излишнего мяса на чай действительно была невыгодной для арестантов. Опасаются, что она и впредь может быть не совсем выгодной для них, если вместо сбитенщика, допущенного теперь в тюрьму, не допустят другого сбитенщика из пересыльной тюрьмы. Тот сбитенщик родом из евреев, уме-

ет лучше держать себя с мелкими тюремными властями, и баклаг у него не выкидывают, хотя чай в них, может быть, даже и не такой, какой приносит сбитенщик тюрьмы. Сказывают даже, что пересыльный сбитенщик непременно выживет из тюрьмы нынешнего сбитенщика, ибо у него есть хотя и небольшая рука, но сильная способностью к мелким интрижкам и десятилетней практикой в производстве их. Гг. директорам и смотрителю (о котором нельзя услышать ничего, кроме самых лучших отзывов) следовало бы прислушаться кое к чему, касающемуся этой статьи... ниточка доводит до клубочка, а клубочек, кажется, должен быть.

Здесь, кстати, о смотрителе: я слышал на него несколько жалоб, но все эти жалобы такого свойства, что их нельзя не поставить в заслугу г. Повало-Швейковскому, обвиняемому в «слабости», которую следует скорее назвать человечностью, и в умении не всякое лыко тачать в строку. В общем мнении своего печального мирка смотритель петербургской тюрьмы пользуется совершенно не теми чувствами, какие питаются к некоторым другим

лицам его ведомства.

Теперь я могу сообщить несколько сведений о распределении времени арестантов и об отношениях к ним попечительного комитета.

Арестанты в петербургской тюрьме встают летом в 6 часов, а зимой в 7 часов утра, и тотчас идет поверка их. Вставши, они умываются и убирают свои камеры. В 8 часов звонок к чаю и завтраку, после чего начинаются работы (благородные, татевные и бродяжные на работы не ходят). В 11 часов обедают разночинцы, а в 2 часа благородные. Воду во все этажи накачивают два раза: утром, тотчас после поверки, и часов в 5 перед ужином. Дрова арестанты пилят поочередно и разносят их, куда нужно, после 4-х часов. Дворы метут арестанты 2-го частного отделения. Подаяние раздается два раза в день: утром в 9 часов и в 3 часа пополудни. В 4 часа вечерний чай, а в 6 часов ужин. После ужина в 8 часов производится вечерняя поверка арестантов, и их запирают; в это же время начинается отпуск провизии на следующий день. В страстную субботу в тюрьме было 835 человек, и им в

ЭТОТ ДЕНЬ ОТПУЩЕНО:

круп овсяных..... 1 п<уд> 12
ф<унтов> 18 зол<отников>

муки пшеничной..... — 34 ' 76 '

масла постного..... — 17 ' 38 '

грибов..... 1 ' 3 ' 47 '

луку..... 500 го-

ЛОВ<ОК>

капусты..... 28 вед<ер>

перцу..... 831/2 золот.

соли в котел..... 23 фун. 65

ЗОЛ.

' 'столовой..... 17 ' 60 '

' 'части, на уж..... 10 ' 45 '

' 'пересыльную..... 2 ' 18 '

круп овсяных..... 3 ' 30 '

муки пшеничной..... 2 ' 20 '

луку..... 31 ГОЛОВ.

капусты..... 13/4 вед.

перцу..... 5 золот.

говядины 3-го сорта..... 131/4 фун.

соли в котел..... 1 фун. 10

ЗОЛОТ.

в столовую..... 1 ' 63 '

Директора попечительного совета посеща-

ют тюрьму почти каждый день и очень много содействуют нравственному и материальному благосостоянию заключенных. Я считаю небезынтересным привести здесь выписку из журнала экстренного заседания комитета общества попечительного о тюрьмах, состоявшегося 5-го января 1862 года. Выписка эта может познакомить читателей со способом действий комитета в настоящее время. Вот она в подлиннике:

«Назначенная комитетом с. — петербургского общества попечительного о тюрьмах комиссия из четырех директоров имела свое первое заседание 23-го декабря прошлого года, с целью: распределить занятия по заведыванию тюремных замков между членами и определить порядок, в каком каждый из них должен действовать по вверенной ему отрасли управления, направляя их к общей цели — возможному улучшению быта арестантов и строгой экономии в расходовании сумм комитета.

Не приступая еще к совещанию, трое из членов: барон А. Б. Фитингоф, П. С. Лебедев и А. В. Никитин обратились с просьбой к сена-

тору, генерал-лейтенанту А. А. Волоцкому, по званию вице-президента, быть председателем комиссии для заведывания тюремным замком с тем, что остальные директора будут действовать под ведением председательствующего каждый по избранному им отделу тюремного хозяйства. А. А. Волоцкой, согласившись на это предложение, выразил желание оставить сверх сего за собой исключительно ходатайство по делам арестантов и наблюдение за быстрейшим ходом тех из уголовных дел, которые будут восходить в сенат.

Приступая к распределению занятий, комиссия положила:

1. Наблюдение за порядком: содержание арестантов, размещение их и занятие работами есть прямая обязанность всех директоров, и каждый из них, при посещении замка, должен постоянно обращать на это внимание.

2. Занятия по заведыванию тюремным хозяйством распределены между членами следующим образом:

- 1) Наблюдение за продовольствием заключенных в замке, отпуском с тюремной кухни пищи, приготовляемой на суммы, отпускае-

мые из казны, и из припасов, поступающих от благотворителей, принял на себя А. В. Никитин.

2) Присмотр за правильным приемом и расходом дров для отопления замка, наблюдение за чистотой в замке и средствами для ее поддержания, освещением и исправным содержанием труб и печей принял на себя барон А. Б. Фитингоф.

3) Заведывание всеми мастерскими в замке, водопроводом, бельем, прачечной, а также заготовлением, раздачей и хранением одежды, белья и обуви, наймом приставников хозяйственного отделения, наблюдение за содержанием мужской и женской больниц, погребением умерших, содержанием фургонов и фур, наймом лошадей и экипажей для перевозки пицци и заключенных и закупкой разной посуды, мебели и всех мелочных вещей, необходимых в хозяйстве тюремном, принял на себя П. С. Лебедев.

На первый раз каждый из членов принимает свою часть в полное свое ведение, во всей подробности; затем, в случае болезни или отсутствия одного из членов, обязан-

ность его принимает на себя другой.

Каждый член действует совершенно самостоятельно в обыкновенном круге своих обязанностей, руководствуясь контрактами с поставщиками и существующими положениями и инструкциями.

Комиссии собираться еженедельно и вести журнал своих заседаний, представляя его в комитет.

Все денежные выдачи делаются не иначе, как по общему совещанию; причем в случае разделения голосов голос г. председательствующего дает перевес. Все представления о денежных выдачах и предметах заготовления делаются не иначе, как за общим предписанием всех членов, причем несоглашающийся излагает свое особое мнение.

По окончании каждым членом приема заведываемой им части и донесения о том в комитет, все гг. члены-директора тюремного комитета приглашаются при посещении тюремного замка вносить свои замечания в особую книгу в конторе хозяйственного отделения, чтобы иметь возможность немедленно воспользоваться сделанными указаниями.

Замечания же свои по разным отраслям тюремного хозяйства г. председательствующий комиссии, заведывающей тюремным замком, передает изустно члену комиссии, в ведении которого эта отрасль находится, наблюдая за исправлением замеченного упущения или недостатка.

Обратясь затем к прямому назначению учреждения тюремных комитетов, то есть нравственному улучшению арестантов, комиссия положила:

Изыскать все средства к тому, чтобы занять арестантов работами, и к искоренению между ними праздности и вредного влияния наиболее развращенных.

С этой целью предложено осмотреть во всей подробности все помещение тюремного замка и определить, какие комнаты в оном могут быть заняты мастерскими. Предположения свои о помещении мастерских и род работ, наиболее удобных для введения в тюремном замке, представить в свое время комитету.

Сравнивая существующий тюремный замок с теми, которые устроены за границей,

где арестант, находясь под постоянным надзором, занимаясь работой и лишенный возможности иметь влияние на других заключенных, значительно исправляется в моральном отношении и, возвратясь в общество с познанием какого-либо полезного ремесла, может заработать для себя честный хлеб, комиссия пришла к убеждению, что при настоящем состоянии тюремного замка города С.-Петербурга (в самой своей постройке не приспособленного к содержанию арестантов) возможны только частные улучшения, но необходимо устроить новую тюрьму в С.-Петербурге, которая могла бы послужить впоследствии образцом для других тюрем в России; комиссия решилась убедительно просить комитет ускорить предварительными соображениями по этому делу; что же касается проекта новой тюрьмы, то при рассмотрении его можно воспользоваться указаниями лиц, специально изучивших это дело за границей, именно: гг. Жемба в Лондоне, Дюкестю в Брюсселе, Дюга в Париже, Фюслина в Бадене, Варентраппа в Франкфурте-на-Майне, графа Деляса в Метри и Обонеля в Женеве — все они, без сомнения,

с полной готовностью окажут комитету свое содействие.

Положено: Означенное распределение занятий между гг. директорами, заведующими тюремным замком, и изложенный в сем журнале порядок исполнения сих обязанностей утвердить с тем, чтобы комиссия руководствовалась прежними распоряжениями комитета по хозяйственной части и озаботилась составлением проекта инструкции для эконома замка. Что же касается предположения комиссии о заведении в тюремном замке работ, то ожидать по сему предмету представления комиссии, а предположение ее о заимствовании сведений при постройке новой тюрьмы от иностранных корреспондентов принять к сведению. Причем комитет положил о настоящем распределении обязанностей гг. директоров, заведующих тюремным замком, и об учреждении в замке особой книги для замечаний посещающих тюремный замок заявить всем гг. директорам выписками из сей статьи журнала.

Выписки эти напечатаны и сообщены всем директорам, которых, кажется, что-то

около 40 человек; но деятельное участие в судьбе арестантов принимают только 14 человек. Вот список гг. вице-президентов и директоров комитета общества попечительного о тюрьмах, принявших на себя ходатайство об ускорении производства арестантских дел, с показанием, кто из них какое место принял. По правительствующему сенату — вице-президент, сенатор А. А. Волоцкой, у Поцелуева моста, д<ом> барона Фитингова; по губернским присутственным местам и у должностных лиц — вице-президент князь Г. А. Щербатов, в Моховой ул., собств<енный> д<ом>; по 2-му департаменту управы благочиния — директор В. Н. Спасский, у Семеновского моста, на углу Казачьего пер., д. Вьюшина; по городскому магистрату — Н. И. Гвоздаво-Голенко, у Владимирской, д. барона Фридерихса; по 1-й адмиралтейской части — князь В. П. Мещерский, по Большой Морской, д. Карамзина; по 2-й адмирал. части — И. И. Шамшин, на Васильевском остр., по 1-й лин., д. Сазонова; по 3-й адмирал. части — П. С. Лебедев, в Моховой ул., д. Имзена; по 4-й адмирал. части — И. А. Хрыпов, по Екатерингофскому пр., собствен. д.; по

Московской части — А. Д. Крылов, между Кокушкиным и Вознесенским мостами, д. графа Стенбок-Фермер Эссена; по Нарвской части — Г. С. Попов, у Владимирской, д. Маслова; по Рождественской и Каретной частям — А. О. Табаровский, на углу Пантелеймоновской ул., д. Глазунова; по Литейной части — П. С. Юнеев, по Большой Садовой, собств. д.; по Васильевской части — Д. М. Сольский, на Васильевском остр., по 2-й линии собств. д.; по Выборгской и Петербургской частям — А. А. Лазарев, в Надеждинской ул., д. Гусева».

Я нарочно выписал имена этих директоров с подробным обозначением их адресов, чтобы сторонние люди желающие принять какое-либо участие в арестантах или желающие доставить заключенным пособия или работы, могли, не затрудняясь, обратиться к прямым и бескорыстным слугам заключенных.

Этим я оканчиваю мои заметки о с. — петербургской тюрьме и, повторяя еще раз мою благодарность директору Л—ву, позволяю себе заявить почтенным попечителям одну мысль.

Известно, что в американских штатах всякий вправе посещать тюрьмы, платя за билет для входа в них 25 центов, и это служит большим пособием для содержания арестантов и самого устройства тюрем. Сверх того годовые рапорты дают подробные отчеты о тюрьмах; отчеты эти публикуются во всеобщее сведение и продаются отдельно всем желающим. Критические разборы отчетов и беглые заметки, не вроде моих самых, впрочем, поверхностных заметок, являются в журналах и служат одной из главных пружин для постепенного улучшения и приведения мест заключения в положение, удовлетворяющее современным требованиям.

Я не полагаю, чтобы открытие тюрем у нас для частных посетителей с платой, например, по 50 копеек за вход было безвыгодно в экономическом отношении; в административных целях это не может встретить никакого препятствия, а для арестантов такие посещения были бы очень полезны, ибо сторонний глаз, наблюдая тюрьму, мог бы заметить многое, чего не замечают люди, присмотревшиеся к тюрьме и уверенные, что в ней все так и

должно быть, как было до сих пор. Между гг. директорами, вероятно, не встретится врагов гласности, которая способна улучшить даже и тюрьму, а гласность станет приносить свою пользу тюрьмам, когда их отопрут каждому, желающему посетить заключенных и платить 50 копеек за входной билет. Не все же встречаются с таким обязательным лицом, как г. Л., да и не всех желающих видеть тюрьму он может ввести в нее; а многие, вероятно, сумели бы сказать о ней гораздо более дельного, чем я, расстающийся, впрочем, с моими читателями в полной надежде вскоре показать им, какова тюрьма в рабочий день.

Примечания

«У» вместо «В». — Прим. Лескова.

[^^^]

2

Все эти помещения так странны и не похожи на то, что мы называем комнатами, что не знаешь, как их назвать — Прим. Лескова.

[^^^]

См. «Русский инвалид», 1861 г. «Тюрьмы и их порядки параллели». — Прим. Лескова.

[^^^]

4

Покровительствуемый — Франц.

[^^^]

5

Женщины продовольствуются отдельно от мужчин и имеют свою экономическую сумму и свою экономку.

[^^^]

6

Господин полковник! — Франц.

[^^^]

Охотно — Франц.

[^^^]

После ее не только <не>приятно вспомнить 3-ю адмиралтейскую часть с ее обгрызенной чашкой, но и остается желать, чтобы женская столовая была так удобопорядочена, как мужская. — Прим. Лескова.

[^^^]

В — ской губернии крестьяне слово «вскричи» употребляют вместо «позови». — Прим. Лескова.

[^^^]

Вместо прежде. — Прим. Лескова.

[^^^]